

Из истории формирования русской национальной идеологии (первая треть XIX в.)¹

Симптомы формирования национально ориентированной идеологии в России прослеживаются на протяжении всего восемнадцатого столетия² Однако только в царствование Екатерины II национальный элемент начал играть заметную роль во внутренней³ и внешней политике⁴. Екатерина впервые последовательно вводит «русский стиль» в репрезентацию императорской власти: «Несмотря на господствовавший в нравах той эпохи космополитизм, риторика и стиль царствования Екатерины не позволяли сомневаться в доминирующей роли российского дворянства. Имперский патриотизм с великорусским акцентом определял тон исторических и литературных трудов второй половины XVIII в. Екатерина Великая, первый после Рюрика правитель России, не имевший ни капли русской крови, прославляла русскую элиту, которой удалось наконец добиться преимущественного статуса в империи»⁵.

Императрица поддержала ряд культурных инициатив, имевших отчетливо национальную окраску⁶, и приняла на себя роль покровительницы русской литературы, умело используя ее для национального идеологического строительства⁷. В ее царствование началось активное осмысление роли языка и истории в формировании национальной идентичности: лингвистические и исторические изыскания стали сферой утверждения национального достоинства и инструментом трансляции единой национальной памяти (характерно, что и сама Екатерина выступила автором программного сочинения об истории России и русской государственности – «Записок касательно Рос-

сийской истории»)⁸. Словесность служила проводником представлений об историческом величии России и постулировала этический идеал «русскости»⁹. Именно в екатерининскую эпоху (преимущественно с 1780-х годов) начинает формироваться «пантеон национальных героев», интенсивно документируется государственное и родовое предание¹⁰, оформляется исторически легендированная территориальная геральдическая символика¹¹ актуализируется фольклорный пласт национальной культуры¹². К этому же времени относится первый опыт кодификации национального языкового фонда – Словарь Академии Российской¹³.

И тем не менее в социокультурной ситуации того времени литературно-языковые полемики и исторические разыскания были обречены оставаться делом небольшого круга столичных энтузиастов. Малочисленность и незначительная социальная роль третьего сословия, крайне низкая доля образованного населения и, главное, отсутствие единого информационного и культурного пространства, формируемого регулярно выходящими негосударственными газетами и журналами, – все это лишало национальную идеологию широкой воспринимающей среды. Кроме того, сменившие на престоле Екатерину Павел I и Александр I (в первые годы царствования) отказались от апелляции к национальному характеру императорской власти, предпочтя для ее репрезентации «европейские» сценарии¹⁴.

Даже лишенные поощрения «сверху» национальные идеологические модели продолжали развиваться и распространяться в обществе, однако скорость их трансляции была, как мы уже говорили, крайне невысока. Ситуация радикально переменилась во время неудачных кампаний 1805–1807 гг. и в особенности после Тильзитского мира, когда недовольство правительством совместилось с чувством уязвленного национального самолюбия. Национально ориентированные идеологические схемы и патриотический дискурс, которые в это время разрабатывались в политически активных группах (преимущественно оппозиционного толка¹⁵) и символизировались в культурных практиках¹⁶, достигли окончательной кристаллизации под влиянием реальной политической и военной угрозы 1812 г.

В 1812–1814 гг. сложился тот набор концептов, которому предстояло лечь в основу большинства изводов русской национальной идеологии XIX в.

Одним из таких опорных концептов была идея мессианского призвания России. В риторических текстах эпохи (от официальных манифестов и церковных проповедей до оды и журнальной публицистики) реальная военно-политическая ситуация мыслилась как проекция апокалиптического сюжета: провиденциальный вызов и победа над inferнальным Врагом через испытание и самопожертвование¹⁷. Распространению подобных толкований способствовали воззвания Священного синода 1806 и 1812 гг., читавшиеся в церквях и объявлявшие Наполеона врагом церкви¹⁸. При этом православная церковь и Россия, как единственное православное государство, получали статус исключительности и тем самым наделялись признаком богоизбранности (нашествию безбожных «двоюнадесяте языкъ» противостояла изолированная сингулярная общность, носительница «истинной веры»). Содержавшиеся в идеологических текстах ветхозаветные коннотации актуализировали, в свою очередь, образ национально-религиозного государства (Россия – Новый Израиль)¹⁹ и способствовали сакрализации народного тела и государственной территории. Этот сложный конгломерат концептов функционировал в идеологических практиках как синтетический символ, надолго (если не навсегда) закрепивший в патриотическом дискурсе идею сакральности самого понятия *Россия*.

Победа в Отечественной войне привнесла в идею мессианского призвания России новую составляющую. Борьба России с Наполеоном стала расцениваться не только как спасение собственной ценностной сущности, но и как внешняя освободительная миссия, объектом которой стала поработенная Европа.

Чтобы полностью оценить значение этой составляющей, необходимо вспомнить о магистральной для русской культуры XVIII в. модели «ревнования Европе», описывавшей вступление молодой России в школу европейской цивилизации и ее стремление превзойти своих учителей. Очевидно, что такая модель рано или поздно вступает в конфликт с концепцией национального и государственного

величия, а значит, должна быть тем или иным образом изжита²⁰. «Спасение Европы» (этот синтетический символ включал в себя разные, подчас весьма противоречивые, концепты: «спасение царей и царств», дарование свободы и восстановление легитимных границ и правительств, избавление от ужасов революции, религиозное просвещение – «ex oriente lux» и т. д.) стало идеальным разрешением этой модели: русские не просто отдали долг своим учителям, но и доказали свое моральное превосходство над более просвещенными народами. «Малая цивилизованность», в рамках модели «ревнования» воспринимавшаяся как недостаток, в новой ситуации превратилась в синоним христианских добродетелей – благочестия, смирения, миролюбия – и залог торжества русского народа над силами зла. Пример подобной логической конструкции находим в оде Карамзина «Освобождение Европы и слава Александра I» (1814): «Еще в Европе отдаленной / Один народ благословенный / Главы под иго не склонил, / Хранил в душе простые нравы, / В войнах издревле побеждал, / Давал иным странам уставы, / Но сам жил только по своим, / Царя любил, царем любим; // Не славился богатством знаний, / Ни хитростию мудрований, / Умел наказывать врагов, / Являясь в дружестве правдивым, / Стоял за Русь, за прах отцов, / И был без гордости счастливым; / Свободы ложной не искал, / Но все имел, чего желал»²¹. Идея морального превосходства России в связи со спасением Европы входит в число наиболее устойчивых мотивов поэзии 1812 года: ср., например, у Шатрова – «Узря Европы сотрясенье, / Ты длань ей дружбы подала, / Охотно для ее спасенья / Себя всю в жертву отдала; / От уз постыдных искупила; / Но чем Европа заплатила / Союзнице своей Москве? / Москва сама собой восстала, / И снова слава заблистала / На царственной твоей главе»²². Эти же мотивы звучат и в гимне Л.Ф. Воейкова «К Отечеству» (1812), и в «Воспоминаниях в Царском Селе» (1814) молодого Пушкина.

Мессианские представления получили специфическое выражение в языковых и культурных установках адмирала Шишкова и его единомышленников²³. Отказавшись от модели «ревнования Европе» и стоящей за ней рационалистической теории культурного универсализма и провозгласив вслед за Гердером уникальность националь-

ной культуры, А.С. Шишков оказался поставлен перед задачей – обосновать значимость и неповторимость русского духовного наследия. Главным аргументом для него стал язык: уже в «Рассуждении о древнем и новом слоге» (1803) Шишков объявил русский прямым наследником церковнославянского и близким родственником греческого языка. Малоосновательная с лингвистической точки зрения, теория Шишкова обладала мощным идеологическим потенциалом. Русский язык и «русский дух» оказались напрямую связаны с источником цивилизации – Древней Грецией, в то время как европейские державы, и прежде всего столь нелюбезная Шишкову Франция, наследовали преемнику Греции – Риму²⁴. Не менее значимым был тот факт, что церковнославянский и греческий являлись языками богослужения и священных книг Восточной церкви – оплота истинной веры. Наконец, русский язык в представлении Шишкова был результатом естественного развития церковнославянского, в отличие, например, от французского, родившегося из «испорченной» местными наречиями латыни. Таким образом, русский язык наделялся атрибутами древнего, богодухновенного и естественного. Обращение («возвращение») образованного общества к русскому языку привело бы к возрождению национального духа и восстановлению утраченного культурно-языкового единства нации.

Знаменательно, что в идеологических конструкциях эпохи идея национальной избранности тесно соседствовала с концептом «надсословного единства». Обретение единства является одним из центральных концептов в большинстве национальных идеологий, но если в стремительно развивавшихся в начале XIX в. национальных движениях в Германии, Италии, Польше единство понималось прежде всего как обретение территориальной целостности и национальной государственности, то в России для государствообразующей русской нации главной проблемой являлось преодоление культурного и правового разрыва между дворянством и другими сословиями. Одинаково актуальная для либералов и для консерваторов идея надсословного единства находила свое идеальное воплощение в двух противоположных моделях – представительного правления и патримониальной монархии. Для либералов акцент падал на

создание единого для всех сословий правового пространства; консерваторы возлагали надежды на семейную модель социума, в которой единство создается равной заботой царя-отца о своих подданных²⁵.

Наполеоновское нашествие обострило политические последствия культурно-правового разрыва: слухи о том, что Наполеон собирается дать крепостным свободу, крестьянские волнения, необходимость быстрой мобилизации гражданского населения и удержания под контролем населения немобилизованного, – все эти факторы стремительно активизировали идеологическое строительство, одним из центральных концептов которого стала патриархально-семейная модель, перенесенная – по нисходящей – с отношений царя и подданных на отношения помещиков и крепостных. Эта модель активно эксплуатировалась в государственной риторике, вспомним хотя бы известный пассаж из проекта манифеста о победе над Наполеоном, написанного А.С. Шишковым: «Существующая между ними (крестьянами и помещиками – *Н. М.*) на обоюдной пользе основанная, русским нравам и добродетелям свойственная связь, прежде и ныне многими опытами их взаимного друг к другу усердия и общей любви к отечеству ознаменованная, не оставляет в нас нималого сомнения, что, с одной стороны, помещики *отеческою* о них, яко о *чадах* своих, заботою, а с другой – они, яко усердные *домочадцы*, исполнением *сыновних* обязанностей и долга приведут себя в то счастливое состояние, в коем добронравные и благополучные *семейства* процветают»²⁶. Апелляции к семейной модели во множестве встречаются и в дневниковых записях, и в частной переписке эпохи; так, например, один из русских корреспондентов госпожи де Сталь писал ей в 1812 г.: «Чувство, которым русский поселянин связан со своим положением, не ограничивается его гражданскими отношениями, теми отношениями, которые определяются словом рабство. <...> Да, надо признать весьма человеческим тот род рабства, при котором господин зовет раба братом (“братец”), а раб говорит господину “ты” и называет его отцом (“батюшка”)»²⁷.

Показательно, что в императорских манифестах 1812–1813 гг., вышедших из-под пера А.С. Шишкова, не упоминается Петр I – «кумир русской государственности многих десятилетий, символ проевропейской классицисти-

ческой идеологии, но есть другие имена: «Да встретит он [враг] в каждом дворянине Пожарского, в каждом духовном Палицына, в каждом гражданине Минина». Таким образом петровской схеме «ранжирного» государства, закрепляющей разделение сословий в соответствии с их обязанностями и правами, противопоставляется идея некоего «сословного единства», проникнутого национальным духом»²⁸. Эта же идея наглядно отразилась в медальоне А.Н. Оленина на всеобщее ополчение 1812 года²⁹: вокруг алтаря с надписью «За Веру, Царя и Отечество» расположены фигуры дворянина, священника, купца и крестьянина, над ними полукругом фраза – «Мы все в одну сольемся душу»³⁰.

Одним из наиболее эффективных инструментов утверждения и прославления национального единства является апелляция к героическому национальному прошлому. По-видимому, именно к эпохе антинаполеоновских кампаний следует относить начало формирования общенациональной исторической памяти – процесса, который является одним из наиболее ранних и важных признаков становления национального самосознания³¹. Угроза извне спровоцировала потребность в исторической самоидентификации, которая не могла быть удовлетворена государственно-династической историографией с ее хронологически последовательным нарративом. Опорой для идентификации стали кульминационные эпизоды истории, поддававшиеся аналогическому толкованию и воодушевлявшие национальное самолюбие.

До начала XIX в. в России единственным протагонистом и носителем исторической памяти было «благородное сословие». История рода, сопологаемая с историей государства, позволяла потомственному дворянству апроприировать национальный исторический опыт и трактовать его как сословную (и личную) прерогативу. В начале века ситуация начала меняться, и хотя «генеалогическая» история осталась исключительной привилегией дворянства, потребность в формировании общенациональной исторической памяти привела к появлению новых национальных героев³² – Ивана Сусанина, Козьмы Минина и Авраамия Палицына, крестьянина, купца и священнослужителя³³. Д.Н. Свербеев вспоминал об открытии памятника Минину

и Пожарскому на Красной площади в феврале 1818 г.: «Не вдруг стала понятна всем тайно-либеральная мысль тогдашнего времени, и не сейчас по открытии памятника сделалась она предметом толков и суждений; рано ли, поздно ли, однако догадались, что в надписи на памятнике («Гражданину Минину и князю Пожарскому благодарная Россия». – Н. М.) гражданин (собственно говоря, мясник) Минин выставлен был первым, а князь Пожарский, Рюрикovich, поставлен вторым, да и самое слово гражданин так приятно первый раз коснулось русского уха»³⁴. Отсылая одновременно к давнему и недавнему прошлому – к событиям Смутного времени и наполеоновского нашествия – памятник напоминал, что народное согласие, основанное на единении сословий и породившее царствующую династию, является источником спасения и залогом процветания России³⁵.

Император Александр успешно апеллировал к национальным чувствам во время Отечественной войны, став на какое-то время центральной фигурой современной национальной мифологии³⁶. Культ его как «отца Отечества» достиг своего апогея в 1812–1815 гг.³⁷ С возвращением императора в Россию после заграничных походов связывались главные надежды на внутренние преобразования и улучшение положения разоренных войной подданных³⁸. Эти ожидания были тем более обоснованы, что благодаря реформаторской политике Александра западные окраины России (Польша, Финляндия, Прибалтийские губернии и даже гораздо более отсталая Бессарабия) переживали экономический и культурный подъем, подкрепленный их особым государственно-правовым статусом в составе Российской империи³⁹. Однако социально-экономические реформы так и не распространились на великорусские губернии. Привилегированное положение окраин вызывало крайнее раздражение значительной части русского общества и усиливало чувство ущемленного национального самолюбия, а политика императора в польском вопросе казалась прямым ущербом интересам России⁴⁰.

Отсутствие решительных мер во внутренней политике мешало быстрому восстановлению разрушенной войной экономики. Европоцентризм государственного курса Алек-

сандра плохо сказывался на экономическом положении России: русско-австрийская и русско-прусская таможенные конвенции подрывали отечественную промышленность, легитимистская позиция императора в греческом вопросе сильно сократила вывоз хлеба южными путями и привела к застою в хлебной торговле⁴¹. Одновременно в обществе формировалось убеждение в неизбежно «антинациональном» характере реформ, которые мог бы предпринять Александр: показательно, что слухи о готовящемся освобождении крестьян вызвали одинаково негативную реакцию и у консерваторов, и у радикалов⁴².

Важным фактором, определившим национальный пафос оппозиции, кроме ориентации внешней и внутренней политики Александра на Европу, было его очевидное нежелание использовать национальные элементы во властном дискурсе (единственным исключением был период пребывания двора в Москве в 1817–1818 гг., о котором мы будем подробно говорить ниже). После возвращения из заграничных походов, как отмечает Р. Вортман, «Александр явно избегал проявлений национального чувства и даже не изъявил публичных соболезнований пострадавшим жителям Москвы. В отличие от Австрии и Бельгии, в России он не посетил ни одного из памятных мест сражений 1812 года. Он проигнорировал 26 августа – годовщину Бородинской битвы, не поехав на поле сражения и не отслужив панихиду по погибшим в Москве. Однако в этот день он нашел время для того, чтобы отправиться на бал»⁴³. Побывав в 1816 г. на Бородинском поле, Н.Н. Муравьев писал: «Никакой памятник не сооружен в честь храбрых русских, погибших в сем сражении за отечество. Окрестные селения в нищете и живут мирскими подаваниями, тогда как государь выдал 2 000 000 р. русских денег в Нидерландах жителям Ватерлоо, потерпевшим от сражения, бывшего на том месте в 1815 году»⁴⁴.

После 1815 г. началась постепенная деструкция национальной александровской мифологии. Емкое описание эволюции публичного облика императора дал в своих записках декабрист И.Д. Якушкин: «Никогда прежде и никогда после не был он так сближен со своим народом, как в это время (1812 г. – *Н. М.*), в это время он его любил и уважал. <...> В 13-м году имп[ератор] Александр перестал быть ца-

рем русским и обратился в импер[атора] Европы. <...> он был прекрасен в Германии, но был еще прекраснее, когда мы пришли в 14-м году в Париж». После возвращения армии из заграничного похода Александр торжественно въезжал во главе 1-й гвардейской дивизии в Петербург «на славном рыжем коне, с обнаженной шпагой, которую уже он готов был опустить перед императрицей. Мы им любовались, но в самую эту минуту почти перед его лошадью перебежал через улицу мужик. Импер[атор] дал шпоры своей лошади и бросился на бегущего с обнаженной шпагой. Полиция приняла мужика в палки. Мы не верили собственным глазам и отвернулись, стыдясь за любимого нами царя»⁴⁵. Якушкин возмущен тем, как принцип надсословного единства, активно использовавшийся императором во время войны, был наглядно попран после ее окончания.

Действительно, после перехода войны за пределы России Александр отказался от роли «русского царя» ради нового амплуа «спасителя Европы». В эпоху освобождения Европы от Наполеона и создания Священного союза главенствующим принципом для него стало мессианство мистического толка, построенное на провиденциальном осмыслении роли монарха⁴⁶. Новая идеология вызвала неоднозначную реакцию в обществе: недовольные увидели в ней пренебрежение или прямую угрозу «национальным устоям», и прежде всего православию. Одним из главных провоцирующих моментов послужила деятельность Библейского общества⁴⁷. Основанное в декабре 1812 г. и с самого начала возглавленное обер-прокурором Синода и будущим министром духовных дел и народного просвещения (с 1817 г.) кн. А.Н. Голицыным, Общество пользовалось особым покровительством императора, а его деятельность практически отождествлялась с государственной политикой. Основной целью Общества был перевод и распространение Священного Писания на национальных языках, первоначально только среди иноверцев и инославных, а затем и среди православных. Для этой цели в 1816 г. был начат перевод Библии с церковнославянского на русский язык. Парадоксальным образом главными противниками перевода оказались именно сторонники национального направления в литературе: члены «Беседы любителей русского слова» – А.С. Шишков, Е.И. Станевич, кн. С.А. Ширинский-Ших-

матов, митрополит Евгений (Болховитинов) и другие. Сама идея такого перевода вступала в очевидный конфликт с лингвистической теорией Шишкова, согласно которой русский и церковнославянский были разными стилистическими уровнями одного языка. Для Шишкова и его единомышленников русский перевод Священного Писания был не чем иным, как переложением с высокого языка на низкий, с языка церкви на язык страстей.

Однако лингвистический вопрос был лишь частью более общих конфессиональных противоречий: по духу и по уставу своему Библейское общество носило надконфессиональный характер, а сама традиция непосредственного контакта мирянина со Словом Божиим была тесно связана с протестантизмом. Наконец, влияние Библейского общества на политику в области духовных дел подкреплялось мощной «волной немецкого пиетизма и старого масонского мистицизма»⁴⁸. В результате в последнее десятилетие Александровского царствования сторонники строгого православия не без основания считали государственную религиозную политику экуменической и противоречащей национальной религии.

Недовольство в обществе вызывали и связанные с космополитическими интересами Александра его постоянные поездки за границу, и расходы на содержание в мирное время огромной армии. Так, агент тайной полиции сообщал из Смоленска, что «много слышал о ропоте дворян на государя, что даже публично ругают государя разными бранительными словами; выдумали также, что будто бы Московский Сенат прислал депутата в Лайбах требовать от государя отчет, почему он так долго живет за границею и на что издерживал столько денег»⁴⁹. Вообще, отчетливая ксенофобия, характерным примером которой могут служить антинемецкие настроения в армии⁵⁰, выступала существенным элементом общественных настроений рубежа 1820-х годов.

В этот период произошла национальная идеологизация недовольства, носившего по сути своей конкретно-политический характер. «Вся политика Александра I, и внутренняя, и внешняя, встречалась с резкой и раздраженной критикой, с неумолкавшей оппозицией, которая отражала интересы и требования разных общественных групп, но объединялась одною чертою: национально-патриотиче-

ским настроением, враждебным “императору Европы”»⁵¹. Центральным топосом общественной идеологии стало утверждение «нерусского» характера власти: царствующей фамилии, двора, бюрократии и т. д. Типичные уже для сатирической литературы XVIII в. инвективы против иностранных наставников в определенном контексте также имплицитно указывали на антинациональность правящей элиты. Напомним, что приписываемое Рылееву стихотворение «На смерть Чернова» начиналось именно с этого аргумента: «Нет! Не отечества сыны / Питомцы пришлецов презренных. / Мы чужды их семей надменных: / Они от нас отчуждены. / Так говорят не Русским словом, / Святую ненавидят Русь, / Я ненавижу их, клянусь, / Клянуся честью и Черновым»⁵².

Непопулярные правительственные меры оппозиция устойчиво объясняла безразличием власти к национальным интересам или ее страхом перед народом (этот аргумент чаще всего возникал в связи с многочисленностью войска, разорительной для государства). Вновь актуализировалось убеждение в нелюбви Александра к русскому дворянству, о котором императора предупреждал еще Карамзин в «Записке о Древней и Новой России» («Самодержавие есть Палладиум в России: целость его необходима для ея счастья; из этого не следует, чтобы Государь, единственный источник власти, имел причины унижать дворянство, столь же древнее, как и Россия»)⁵³. Своеобразную сводку общественных настроений, недвусмысленно указывающую на национальную окраску массового недовольства, находим в конспекте разговора М.П. Погодина и П.П. Новосильцева летом 1822 г.: «О Государе, о его недоверчивости, об иностранцах, о Карамзине и его Истории, о многочисленности войска и вреде от него для государства; о людях, окружающих трон, о Петре»⁵⁴. Это не первая и не единственная фиксация подобных настроений в дневнике Погодина – в июле 1820 г. со своим ближайшим другом А.М. Кубаревым он говорил: «Об Обществе сынов отечества; – ему досадно, что у нас на <троне> Немцы. Будучи 14 лет или еще раньше я сам жалел об этом. (С корнем воп. – *зачеркнуто*) – Кто у нас воспитывает Государей? – Иностранцы»⁵⁵; в сентябре 1820 г. Погодин записывал: «толковали о пристрастии русских бояр к иностранцам», тот же Кубарев объявил: «Нам

нужен Петр, божественный Петр, который бы одним ударом искоренил это губительное для России пристрастие, заставил бы любить отечественное; гроза, гроза великая может только очистить нравственный наш воздух»⁵⁶.

Так сформировалось одно из «общих мест» оппозиционной идеологии конца 1810 – начала 1820-х годов: необходимость решительных изменений в интересах всей России, которые должны носить русский характер и иметь своей целью восстановление устоев русской жизни⁵⁷. Развитие этого тезиса происходило в двух сферах – государственно-консервативной, наиболее заметными фигурами которой были Карамзин и Шишков⁵⁸, и либерально-реформистской, в которой началось формирование тайных обществ. После восстания декабристов одна из ипостасей национальной идеи легла в основу государственной идеологии, другая на долгие годы стала предметом преследований и подозрений власти⁵⁹.

Глубокое влияние, оказанное общественными настроениями 1812 года на зарождение и развитие тайных обществ, неизменно отмечали и сами декабристы, и историки движения. Емкое определение этого влияния дал кн. С.П. Трубецкой, утверждавший на следствии, что «предлог составления тайных политических обществ есть любовь к Отечеству»⁶⁰. Из показаний и мемуаров декабристов явственно следовало, что патриотические идеи служили и наиболее распространенной причиной вступления в тайное общество, и сферой примирения значительной части политических и идеологических противоречий между его участниками. Исходя из этого можно предположить, что в декабристском дискурсе «любовь к Отечеству» являлась «неким исторически конкретным комплексом идеологических и культурных представлений»⁶¹. Попробуем выделить и описать некоторые из составляющих этого комплекса.

Как мы уже говорили, концептуальное и риторическое наследие 1812 года, после войны ставшее ненужным власти, продолжало разрабатываться оппозицией. Ключевая для идеологии Отечественной войны идея мессианского призвания русского народа, наглядно подтвержденная вкладом России в спасение Европы, вступила в очевидный

конфликт с реальным экономическим и политическим состоянием основной части населения Российской империи. В явном или скрытом виде это противоречие постоянно присутствовало в декабристской риторике; вспомним, например, вступление к конституции Никиты Муравьева: «Все народы Европейские достигают Законов и свободы. Более всех их народ Русской заслуживает и то и другое»⁶². Знаменательным образом патриотические мотивации разрешения данного конфликта зачастую отодвигали на задний план филантропические цели движения; другими словами, русский народ должен был стать свободным для осуществления своей исторической миссии, а не только потому, что рабство бесчеловечно. Характерный пример тому находим в показаниях Кюхельбекера: объясняя мотивы вступления в тайное общество, он говорил, что, «взирая на блистательные качества, которыми Бог одарил народ русский, народ первый в свете по славе и могуществу своему, по своему <...> языку, коему в Европе нет подобного, наконец по радушию, мягкосердию, остроумию и непамятозлобью, душою скорбел, что все это подавляется, все это вянет и, быть может, отпадет, не принесши никакого плода в нравственном мире»⁶³.

Задуманные декабристами политические преобразования описывались с помощью топоса «спасение Отечества», связь которого с «духом 1812 года» очевидна. Центральный для всякой военно-патриотической риторики, этот топос включает в себя или тесно ассоциируется с рядом других концептов сходного генезиса, и прежде всего с идеей жертвы: готовность индивидуума пожертвовать своей жизнью во имя неких надличностных ценностей лежит в основе военного героизма. Идеология 1812 года предлагала в качестве высшей ценности триаду «Бог, Царь, Отечество»; в декабристской идеологии от нее осталась только последняя часть, но тем больше оказался удельный вес этой части.

Готовность умереть за Отечество, естественная на войне, в ситуации мирной жизни приобрела особую значимость, став едва ли не главным этическим оправданием восстания. При этом актуализировалась архетипическая составляющая идеи жертвы: лучшее приносится в жертву для обретения всеобщего благополучия. Ее отзвуки слышны и

в рылеевских строках «Известно мне: погибель ждет / Того, кто первый восстает / На утеснителей народа, – / Судьба меня уж обрекла, / Но где, скажи, когда была / Без жертв искуплена свобода», и в знаменитой фразе кн. А.И. Одоевского: «Умрем, братцы, ах, как славно мы умрем», произнесенной в самом начале восстания, когда исход дела был еще решительно неизвестен. Значимость идеи жертвы для декабристов сразу отметил и Николай I. «Когда этим злодеям сказали, что они, несомненно, сами пали бы первыми жертвами столь ужасного безумия, они дерзко отвечали, что знают это, но что свобода может быть основана только на трупах и что они гордились бы, запечатлевая своей кровью то здание, которое хотели воздвигнуть», – рассказывал он французскому послу в начале января 1826 г.⁶⁴

Одним из вариантов топоса «спасение Отечества» была идея «национального возрождения». Как и большинство национальных идеологий, декабристская идеология включала в себя идею «золотого века», согласно которой национальное будущее осмысливается как «возрождение» исконно присущего народу идеального устройства, разрушенного насильственным, чаще всего иностранным, вмешательством⁶⁵. Идеологический и дидактический потенциал идеи «золотого века» чрезвычайно богат: именно здесь локализуются проявления неиспорченного народного духа и основные образцы национальной добродетели. В идеологических построениях 1812 года как идеальное прошлое описывался конец Смутного времени, в котором видели момент объединения народа, поднявшегося на защиту Отечества. Для декабристов же «утраченным идеалом» зачастую служила Новгородская республика – воплощение свободолобивого духа русского народа и его способности к гражданскому устройству⁶⁶.

При отсутствии реальной внешнеполитической угрозы топос спасения неизбежно предполагает создание образа внутреннего врага. В роли конституирующего чужого в декабристской риторике почти неизменно выступали иностранцы. Идея борьбы с заповолившими Россию чужеземцами – одна из самых устойчивых на всех этапах существования тайных обществ, от Священной артели до Северного и Южного обществ⁶⁷. Необходимо помнить, однако, что оппозиция иностранец–русский выстраивалась не по

этническому, а по гражданскому принципу: «иностранцем» мог называться всякий, не дорожающий интересами Отечества (ср. агитационную песню декабристов «Царь наш – немец русский»), напротив, чистокровные немцы Пестель и Кюхельбекер были самыми активными сторонниками «обрусения»⁶⁸. Известно, что в этом декабристы повторяли установки французского революционного правительства, объявившего французом всякого патриота, а иностранцем – всякого врага республики⁶⁹. Вместе с тем можно предположить, что существенное влияние на формирование гражданского национализма в декабристской среде оказало стирание этнической принадлежности в армии: для русского (а в еще большей степени для иностранного) участника и наблюдателя антинаполеоновской кампании и платовские казаки, и калмыцкий полк, вошедший в Париж на верблюдах, были, конечно же, «русскими»⁷⁰.

Влияние модели национального строительства, применявшейся во Франции в годы якобинской диктатуры, на декабристов отмечено неоднократно⁷¹. Установка декабристов на мононациональность будущего государства, на культурную и языковую унификацию населения, как и во Франции, имела своей конечной целью формирование новой нации, на которую опиралось бы новое государственное устройство. Однако нельзя преуменьшать и то влияние, которое оказала на участников тайных обществ идея надсловного единства. В декабристском дискурсе модель идеального единства, основанного на внеполитических предпосылках, спокойно сосуществовала с концепциями гражданского общества и единого правового пространства. Так, в «Зеленой книге» о целях Союза благоденствия говорилось, что он «старается примирить и согласить все сословия, чины и племена в государстве и побуждает их стремиться единодушно к цели правительства: *благу общему*, дабы из общего народного мнения создать истинное судилище, которое благодетельным своим влиянием довершило бы образование добрых нравов и тем положило прочную и непоколебимую основу благоденствия и доблести русского народа»⁷². Не менее характерный пример апелляции к народному единству, предвосхищающий триаду «официальной народности», обнаруживаем в письме кн. А.И. Одоевского: «Русский человек – все русский человек: мужик

ли, дворянин ли, несмотря на разность воспитания, все то же! Пока древние наши нравы, всасываемые с молоком <...> пока вера во Христа и верность государю его одушевляют, – то он храбр как шпага; тверд как кремь; он опирается о плечи 50 миллионов людей; единомыслие 50 миллионов его поддерживает...»⁷³.

Почти весь комплекс национальных воззрений декабристов более или менее эксплицитно отразился в их литературных выступлениях⁷⁴. Именно национальные элементы декабристского мировоззрения как наиболее «легальные» и «популярные» получили самое широкое распространение в культурной сфере. Патриотизм участников тайных обществ прежде всего привлек внимание власти после восстания. Николай I сразу же заметил, что заговорщики исполнены «любви к Отечеству, но в самом преступном направлении»⁷⁵.

Немедленно после воцарения новый император перехватил «национальную» инициативу у оппозиции предшествующему государю. Уже в первых документах николаевского царствования присутствовала апелляция к национальным чувствам и народному характеру⁷⁶. Так, в манифесте о восстании (20 декабря 1825 г.) всенародное единство, исполненное религиозного духа, противопоставлялось малочисленной группе отверженных («Тогда как все государственные сословия, все чины военные и гражданские, народ и войска единодушно приносили нам присягу верности и в храмах Божьих призывали на царствование наше благословение небесное, горсть непокорных дерзнула противостать общей присяге, закону, власти, военному порядку и убеждениям»). Здесь же декабристский заговор характеризовался как явление антинациональное: «сей суд и сие наказание <...> очистят Русь Святую от сей заразы, извне к нам занесенной <...> проведут навсегда резкую и неизгладимую черту разделения между любовью к отечеству и страстию, между желанием лучшего и бешенством превращений <...> покажут, наконец, всему свету, что российский народ, всегда верный своему государю и законам, в коренном его составе также неприступен тайному злу безначалия, как недосыгаем усилиям врагов явных»⁷⁷.

Манифест по случаю окончания следствия над декабристами (13 июля 1826 г.) был по существу краткой идеологической программой нового царствования⁷⁸, во многом предвосхитившей идеологию официальной народности. В самом начале манифеста император призвал «совершить последний долг воспоминания, как жертву очистительную за кровь русскую, за Веру, Царя и Отечество на сем самом месте пролиянную, и вместе с тем принести Всевышнему торжественную мольбу благодарения. Мы зрели благотворную Его десницу, как Она расторгла завесу, указала зло, помогла нам истребить его собственным оружием – туча мятежа взошла как бы для того, чтобы потушить умысел бунта»⁷⁹. В двух предложениях были соединены три идеи, которым предстояло стать ключевыми в национальной идеологии николаевского царствования: идея жертвы жизнью за царя, актуализировавшаяся в сусанинском мифе⁸⁰, образ спасительной Десницы Всевышнего, активно разрабатывавшийся в исторической драме 1830-х годов⁸¹, и, наконец, прямая предшественница уваровской триады «православие, самодержавие, народность» – формула «за Веру, Царя и Отечество».

В манифесте император неоднократно апеллировал к идее всенародного единства, называя ее залогом недоступности России «злу безначалия» и основой государственного благополучия («Так единодушным соединением всех верных сынов Отечества в течение краткого времени укрошено зло, в других нравах долго неукротимос»; «Все состояния да соединятся в доверии к правительству. В государстве, где любовь к монархам и преданность к Престолу основаны на природных свойствах народа, где есть отечественные законы и твердость в управлении, тщетны и безумны всегда будут все усилия злонамеренных <...> при первом появлении, отверженные общим негодованием, они сокрушатся силою закона»). Из всех сословий особенно выделялось дворянство, как основная сила, связующая монарха и народ («ограда престола и чести народной»). Противопоставление России и Запада, России и революции описывалось через оппозицию «здоровье – болезнь». Отечество провозглашалось очищенным от «следствий заразы, столько лет среди его таившейся»; «зараза» была принесена с Запада иностранными наставниками, здоровая русская

нация осталась ей чуждой («не в свойствах, не в нравах русских был сей умысел»). Лучшим способом ограждения нравов от «порчи» император объявлял «отечественное, природное, не чужеземное воспитание», прославлению которого был посвящен обширный пассаж, предвосхищавший грядущую роль Министерства народного просвещения в распространении национальных начал⁸². Будущее России Николай усматривал не в подражании западным теориям, а в постепенном усовершенствовании «отечественных установлений»⁸³.

Источники идеологической топики манифеста очевидны: в основной своей части она представляла собой более или менее трансформированную идеологию 1812 года (идея надсословного единства, идея героической жертвы, мессианская идея, нравственное целомудрие русского народа). Другие элементы этой топики были антитезой космополитическим установкам поздней политики Александра (особое выделение дворянства, прославление «отечественного воспитания» и «отечественных установлений»). В этой связи интересно отметить, что хотя и в этом манифесте, как и 20 декабря 1825 г., Николай клялся «не иметь других желаний, как видеть Отечество наше на самой высшей степени счастья и славы, Провидением ему предопределенной», но уже не обещал, что его царствование станет продолжением царствования Александра.

Не только первые николаевские манифесты поражают своей подчеркнута национальной окраской – семиотичны в этом смысле и другие публичные жесты императора: вспомним, как вечером 14 декабря Николай показал солдатам Саперного батальона, спасшим в этот страшный день жизнь императорской фамилии, маленького наследника, вживе воспроизведя тем самым модель семейного единства царя и народа. Не менее показательным примером может служить знак взаимного признания суверена и подданных – инициированный Николаем троекратный поклон царя народу с Красного крыльца после коронации, который уже в конце XIX в. стали считать древней и чисто русской традицией⁸⁴.

Даже этих примеров достаточно, чтобы говорить о наличии у нового императора вполне определенных идеологических установок. Каким же образом могла сформиро-

ваться готовая национальная программа у великого князя, вступление которого на престол было, как принято считать, не вполне ожидаемым для него самого?

Основные представления Николая о природе и характере монархической власти в России сложились при дворе вдовствующей императрицы, где воспитывался будущий император. Хорошо известно, что на протяжении всего александровского царствования именно двор Марии Федоровны неизменно выступал оплотом легитимизма и центром династического сценария. Чтобы сохранить и приумножить свой политический вес, императрица-мать настойчиво манифестировала свой статус главы семейства и династии⁸⁵. Однако утверждение этого статуса происходило во многом в противовес властному сценарию Александра. Так, одним из самых эффективных способов подчеркивания своей значимости для Марии Федоровны была апелляция к памяти покойного супруга, неизбежно напоминая Александру (а вместе с ним и всему двору) о нелегитимности его восшествия на престол⁸⁶. Императрица-мать не только приняла на себя всю заботу о воспитании младших великих князей, но и всячески стремилась отдалить их от большого двора, решившись ради этого в 1809 г. даже на переезд в Гатчину (проницательный наблюдатель внутренней жизни двора граф Ж. де Местр называл это решение «страшной картой», которую разыгрывала императрица против своего старшего сына⁸⁷). Характерно, что стремление императрицы-матери полностью заключить младших великих князей в сферу своего воздействия проявилось одновременно с укреплением шансов Николая на наследование престола⁸⁸. Семейное неблагополучие Александра и Константина не позволяло надеяться на рождение у них наследников, и императрица-мать одной из первых связала династические ожидания с Николаем, на которого, в отличие от старших сыновей, она имела большое влияние. Следствием этого было ее стремление устроить брак Николая с прусской принцессой Шарлоттой⁸⁹ (первые мысли об этом браке появились у нее в том же 1809 г.) и удержать молодую семью в своей сфере, в особенности после рождения у Николая сына, будущего императора Александра II.

Свой династический сценарий императрица-мать успешно проецировала на патриархально-семейственную модель государственного устройства, которую, как мы помним, так недолюбливал Александр. Мария Федоровна не только развернула обширную филантропическую деятельность (попечение о вдовах, сиротах и убогих, заботы о женском воспитании и т. д.), вообще вполне традиционную для протестантских монархинь, но и возвела ее на уровень государственного начинания, транспонировав роль матери царского семейства на роль Матери Отечества. Характерно, что благотворительность императрицы Елизаветы Алексеевны отнюдь не пользовалась такой известностью – не только потому, что супруга Александра I распорядилась значительно меньшими денежными средствами, чем императрица-мать, но и из-за полного отсутствия идеологического сопровождения, которым так умело окружала свои начинания последняя.

В обширной панегирической литературе, в значительной части являющейся произведениями выпускников учебных заведений, которым покровительствовала вдовствующая императрица, ее образ включал в себя, наряду с идеей Матери Отечества, христианские коннотации имени Марии⁹⁰. Параллель между императрицей-матерью и матерью Спасителя стала вполне устойчивой после войны 1812 года, когда за Александром закрепилась роль спасителя Отечества. Таким образом, Мария Федоровна получила свою роль в национальном сценарии, построенном в это время вокруг императора. Ее стремление закрепить этот статус ясно выразилось в празднике в честь возвращения Александра в Россию, устроенном ею в Павловске 27 июля 1814 г. Ритуал празднования был построен как национально-семейственная пастораль: на фоне сельских декораций хоры «четырех возрастов» в русских одеждах встречали царя-отца. Символическая роль Марии Федоровны на празднике едва ли не превосходила своей значимостью роль покорителя Европы: императрица-мать метонимически отождествлялась со всей Россией⁹¹.

По-видимому, с самого начала царствования Александра императрица-мать стремилась реализовать собственный сценарий имперского масштаба и оказывать влияние на реальную политику⁹². Однако отсутствие какой бы

то ни было программы не позволило ей создать своей партии. В результате малый двор превратился в место конденсации тех элементов, которые в тот момент оказывались невостребованными в «большой» политике Александра. В своих попытках корректировать государственную политику и оказывать влияние на идеологическую практику недовольные тем или иным поворотом государственного курса делали своим рупором императрицу-мать. Проевропейские и реформаторские установки Александра привели к тому, что в 1800–1810-х годах вокруг Марии Федоровны консолидировался в основном национально-консервативный круг. В особенности после Тильзитского мира малый двор, наряду с тверским кружком великой княгини Екатерины Павловны, претендовал на роль альтернативного политического центра, разрабатывавшего национально-изоляционистскую модель⁹³. В 1807–1812 гг. императрица-мать стремилась привлечь к своему двору крупные политические и культурные фигуры, известные антифранцузскими убеждениями⁹⁴. В 1812 г. Мария Федоровна выступила основной фигурой «партии мира», возражавшей против перехода войны за пределы России. Начиная с 1807 г. национальный элемент играл все более существенную роль в ее риторической практике; ее примеру следовали младшие великие князья, которые, по воспоминаниям современника, восхищались «всеми тем, что есть русское»⁹⁵.

После окончания Отечественной войны малый двор остался центром притяжения для национально-консервативного элемента: среди его постоянных посетителей были А.С. Шишков и издатель главного патриотического журнала «Русский вестник» С.Н. Глинка, а с 1816 г. после долгого периода настойчивых приглашений в круг императрицы оказался вовлечен и Карамзин⁹⁶. Осенью 1817 г. по просьбе Марии Федоровны историк написал «Записку о московских достопамятностях», содержащую целый ряд ключевых концептов национально-консервативного курса⁹⁷. Императрица-мать чрезвычайно упорно стремилась обозначить свое влияние и в культурной сфере. При отсутствии осознанной культурной политики это влияние осуществлялось за счет щедрого покровительства литераторам и художникам, а также через регулярные контакты с наиболее значимыми в этой среде фигурами. В послевоенный период

при малом дворе регулярно бывали главы основных национальных культурных институций: А.Н. Оленин – президент Академии художеств и директор Императорской публичной библиотеки, многократно упоминавшийся А.С. Шишков – президент Российской академии и глава «Беседы», С.С. Уваров – попечитель Петербургского учебного округа и президент (с 1818 г.) Императорской академии наук. «Номенклатурный» подход прослеживался и в ангажировании литераторов – «патриарха» Г.Р. Державина, «первого русского баснописца» И.А. Крылова, «русского Гомера» Н.И. Гнедича, «певца 1812 года» В.А. Жуковского.

При малом дворе в непосредственном контакте с национально-консервативной средой были заложены основы будущей политической системы Николая. Если же говорить о главных образцах, повлиявших на модели репрезентации нового императора, необходимо особенно упомянуть пребывание императорской фамилии в Москве в сентябре 1817 – июне 1818 г., когда Николай принял участие в первом за все александровское царствование идеологическом сценарии, соединившем в себе династический и национальный элементы. Основным режиссером этого сценария выступил сам Александр, императрице-матери и другим членам императорской фамилии принадлежала в нем скорее ассистирующая роль. Именно император принял решение о том, что будущий наследник престола, появления которого ожидали в семье Николая и Александры Федоровны, должен родиться в «стенах Москвы, города царей, древней столицы нашей Святой Руси»⁹⁸ (последним русским монархом, родившимся в Кремле, был Петр I). Тем самым император подчеркивал историческую и национальную укорененность династии и вверял своего возможного преемника городу, ставшему, благодаря событиям 1812 г., символом народного энтузиазма и жертвенности. Значение этого жеста усиливалось целым рядом других идеологически осмысленных акций⁹⁹. Сразу по приезде в Москву 30 сентября 1817 г. Александр с Красного крыльца «на три стороны» кланялся народу, встречавшему своего государя¹⁰⁰; этот вновь изобретенный «древний» ритуал, продублированный Николаем во время коронации 1826 г., мог быть прочитан и как знак благодарности царя жителям города, так страшно пострадавшим в 1812 г., и как символ исторически

легитимированного единства царя и народа. Торжественно открытый 20 февраля 1818 г. памятник Минину и Пожарскому актуализировал идею надсословного единства, ставшего источником спасения России в Смутное время и в Отечественной войне. Провиденциально истолкованные события 1812 года были смысловым центром еще одной парадной акции: 12 октября 1817 г. в пятую годовщину выхода французских войск из горящей столицы был заложен Храм Христа Спасителя на Воробьевых горах. В концепцию нового собора были включены не только религиозные, но и чисто мемориальные функции: храм-памятник должен был стать, с одной стороны, местом молитвенного поминовения, а с другой – своего рода национальным историческим музеем, где сохраняется память о событиях и героях народной войны¹⁰¹.

Московские церемониалы 1817–1818 гг. поддерживали сложившуюся в 1812–1814 гг. модель национальной мифологии, построенную вокруг фигуры царя. Включение в эту модель августейшего младенца, преемника и тезки императора, не нарушало символической монополии Александра, а скорее укрепляло ее, продлевая временную перспективу славы, гармонии и процветания царствующей династии (в эту же перспективу встраивался теперь и отец Александра-младшего – Николай)¹⁰². Однако стройная мифологическая конструкция начала разрушаться в момент своего апофеоза, и парадоксальным образом импульс разрушения исходил от самого императора. Именно к московскому периоду жизни двора относятся некоторые из тех действий и интенций Александра, которые породили жесткую оппозицию различных общественных групп. Речь на открытии первого Сейма Царства Польского 15 марта 1818 г., сулившая распространить конституционные установления на всю Россию; приватно высказанные намерения отдать Польше несколько русских губерний, а также освободить русских крестьян даже ценой гражданской войны – все это страшно возбудило умы. Известны радикальные предложения, вплоть до цареубийства, которые были высказаны в кружке будущих декабристов, собравшихся в Москве осенью 1817 г.¹⁰³ Видимая угнетенность Александра, узнавшего об этих замыслах уже в начале следующего года, была, вероятно, симптомом разочарования в успехе

национального проекта, к которому он вернулся впервые после окончания войны. С этого времени национально-исторический инвентарь окончательно уходит из властного сценария Александра. Однако в общединастический сценарий национальные элементы оказались встроены так прочно, что новый император мог свободно оперировать уже готовыми по существу моделями.

Николай, в отличие от Александра, имел твердые основания апеллировать к династическому сценарию. Все его поведение в период междуцарствия, как он сам неоднократно подчеркивал впоследствии, было продиктовано стремлением соблюсти правила престолонаследия, установленные законом о царствующей фамилии. Ради принципа легитимизма он был готов поступиться не только властью, но и жизнью. Статус Отца Отечества, присвоенный императору в общественном мнении за подавление мятежа, проецировался на роль отца семейства (вспомним аналогичную проекцию во властном сценарии Марии Федоровны). Легитимный монарх, образцовый семьянин и отец наследника мужского пола – соединение всех этих качеств предвещало счастливое будущее династии Романовых, а с ней и всей России. Закономерным образом сценарий коронационных торжеств был построен как апофеоз патриархально-семейной модели, в центре которой стояла августейшая фамилия¹⁰⁴.

Значимость идеи династии для нового государя была сразу же расшифрована и подхвачена обществом: множество примеров тому мы находим в текстах, посвященных коронации¹⁰⁵. Интересно отметить, что события декабря 1825 г. через аналогии со Смутным временем осмыслились как новое начало династии Романовых. Богатый идеологический репертуар на материале Смуты был разработан уже в 1807–1812 гг., но в николаевское царствование акценты сместились и на первый план выступили элементы, допускавшие аналогии с ситуацией междуцарствия: мотив искушения благородного героя царским венцом и мотив чудесного избрания Михаила. Таким образом, в Николае объединялись черты князя Пожарского – спасителя России, не захотевшего стать узурпатором престола, и Михаила Федоровича, принявшего этот престол для блага Отечества¹⁰⁶.

Если поиск исторических параллелей с эпохой Смутного времени в обществе был, по-видимому, спонтанным,

то память о войне 1812 года Николай стремился включить в свой сценарий вполне сознательно. Уже на коронации он настойчиво говорил о необходимости воздвигнуть в Москве Триумфальные ворота в память событий Отечественной войны (заложены в 1829 г. в годовщину битвы при Кульме и закончены в 1834 г.). В январе 1826 г. началось сооружение Военной галереи Зимнего дворца (торжественное открытие состоялось уже 25 декабря, в день традиционного празднования победы над французами). В 1827 г., в пятнадцатую годовщину Бородинского сражения, заложены новые Триумфальные ворота у Нарвской заставы в Петербурге (открыты в 1834 г. в очередную годовщину битвы при Кульме). В 1829 г. Николай утвердил проект Александровской колонны, посвященной памяти покойного императора и победе в войне 1812–1814 гг. (монумент торжественно открыт 30 августа 1834 г., в день тезоименитства Александра). Наконец, в это же время началась новая стадия сооружения Храма Христа Спасителя в Москве: технические неудачи строительства на Воробьевых горах и выявленные финансовые нарушения дали повод в 1828 г. пересмотреть старый проект; был организован новый конкурс, и весной 1832 г. император утвердил эскизы и чертежи К. Тона. Через эти монументальные жесты Николай манифестировал свою преемственную связь с идеологией 1812 года и подтверждал свои притязания на роль нового спасителя Отечества и главного героя национальной мифологии¹⁰⁷.

Показательно, что Николай решительно поменял стиль Храма: вместо утвержденного покойным императором неоклассицистского проекта А. Витберга он выбрал проект в византийском стиле. Общая интенция нового императора распространить «древний» стиль в культовой архитектуре ясно обозначилась уже в 1827 г.¹⁰⁸ Опора на допетровскую стилистику могла расцениваться как средство консервации национальных основ русской жизни в наиболее уникальном, конфессиональном ее сегменте¹⁰⁹. Вместе с тем в этом можно было усмотреть и экспансионистские амбиции: проягивая нить культурного и религиозного тождества в многовековую древность, Николай получал дополнительное основание для претензий на византийское наследие.

Именно в этом ключе были прочитаны события русско-турецкой войны 1828–1829 гг., когда, как сообщали

агенты III отделения, в обществе надеялись, что «государь вступит в Константинополь с победоносным войском и что современники и потомство присоединят к его имени прозвание: Николай Византийский, для вечной славы России»¹¹⁰. Обстоятельства этой кампании коррелировали с ключевыми моментами национальной мифологии¹¹¹. Война с Турцией за освобождение единоверных греков воспринималась как «война за веру», что пробуждало мессианские настроения: Россия, как и в 1812 г., выступала оплотом «истинного православия». Вновь активизировалась идея «народной войны»: эту кампанию называли «делом народным, делом всей России»¹¹². Сама тема Константинополя–Царьграда–Византии обладала богатым мифогенным потенциалом, напоминая одновременно и о победоносном походе Олега на Царьград, и о южной экспансии России в екатерининское царствование, и о греческом проекте, и, наконец, о византийских корнях российской монархии. Победоносное завершение войны позволяло рассчитывать на то, что отныне Россия станет главной покровительницей Греции и руководителем Порты в вопросах европейской политики. Так формировался новый взгляд на Россию как на проводника цивилизации с Запада на Восток¹¹³. Эпохальная миссия примирения двух половин мира постепенно заслоняла собой петровское утверждение России как европейской державы.

Русско-турецкая война 1828–1829 гг., как и предшествовавшая ей персидская кампания, показала, что в отличие от предыдущего царствования геополитические интересы России переместились из Европы на Восток. Отказ от александровского европоцентризма был обозначен и во внутренней политике, которой, в особенности в первые годы царствования, Николай отдавал неизмеримо больше времени и сил, чем устройству европейских дел. Как компромисс между унаследованным от Александра амплуа «императора Европы» и новой ролью «русского царя» мог быть прочитан образ Петра Великого, стремление подражать которому Николай продемонстрировал немедленно после воцарения¹¹⁴. Свою связь с великим пращуром новый император подчеркивал на символическом уровне: во время коронации он прикладывался к кресту, «осенявшему грудь Петра Великого во время Полтавской битвы»¹¹⁵; впо-

следствии он никогда не расставался с иконой, бывшей с Петром под Полтавой¹¹⁶. На поведенческом уровне Николай следовал Петру, акцентируя свою неутомимость, трудолюбие, стремление лично вникать во все тонкости государственного управления и стремительно разрешать запутанные проблемы¹¹⁷.

В николаевском сценарии Петр I выступал символом стремительных преобразований «сверху»: его образ удовлетворял одновременно и тяготению консервативного круга к сильной центральной власти, и надеждам либеральной части общества на реформы¹¹⁸. Однако роль Петра как национального демиурга в николаевском сценарии была явно важнее европейско-просветительской составляющей его деятельности. Знаменательно, что из петровской мифологии исчезает образ «окна в Европу», заменяясь в общественной топике образом китайской стены, которой следовало оградить молодую Россию от проникновения в нее революционной заразы, или осажденной крепости, противостоящей пропитанной духом мятежа и анархии Европе. Первое известное нам обращение Николая к этому образу датируется декабрем 1825 г., когда новый император сказал Михаилу Павловичу: «Революция на пороге России, но клянусь, она не проникнет в нее, пока во мне сохранится дыхание жизни, пока, божиею милостью, я буду императором!»¹¹⁹.

Итак, подводя итоги настоящей работы, мы можем констатировать, что основной набор моделей и топосов, эксплуатировавшихся русской национальной идеологией XIX в., почти полностью сложился к концу 1820-х годов. Начало следующего этапа в развитии национальной идеологии было обозначено бурными событиями начала 1830-х годов – Июльской революцией во Франции, польским восстанием, холерными бунтами и т. д. Отличительной особенностью нового этапа стала активная разработка этой топике в литературе, журналистике, историческом и историософском нарративе, сопровождавшаяся неявной, но от того тем более напряженной борьбой за право транслировать и интерпретировать новую правительственную идеологию и таким образом влиять на властный дискурс, на политику и на общественное мнение.

Примечания

¹ Пользуюсь случаем выразить глубокую признательность А.Л. Основату, оказавшему существенное влияние на мои представления об идеологических установках Николая I, и Н.Г. Охотину, в обсуждениях с которым сложились основные фрагменты настоящей работы. Излишне говорить, что ответственность за все недостатки исследования лежит исключительно на его авторе. В свое оправдание замечу только, что попытка связать тот или иной идеологический процесс с историческим и культурным контекстом неминуемо влечет за собой опасность компилятивности и одновременно неполноты, поскольку, с одной стороны, приходится использовать общеизвестный материал и учитывать распространенные историографические концепции, с другой – сама специфика предмета определяет фрагментарность описания: в случае национально окрашенных идеологических моделей мы имеем дело не с линейным и однородным явлением, а с целым конгломератом дискурсивных и символических практик, порождаемых различными, часто противоборствующими, социальными группами.

² Из общих работ на эту тему назовем: *Живов В.М.* Язык и культура в России XVIII века. М., 1996; *Милюков П.Н.* Национализм и европеизм // Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. Т. 3. М., 1995; *Rogger H.* National Consciousness in XVIII Century. Cambridge (MA), 1969; *Serman I.* Russian National Consciousness and its Development in the Eighteenth Century // *Russia in the Age of the Enlightenment.* L., 1990. P. 40–56; *Walicki A.* The Slavophile Controversy: History of a Conservative Utopia in Nineteenth-Century Russian Thought. Oxford, 1969.

Особенно отметим работы известного историка архитектуры Е.И. Кириченко, в которых, в частности, показана роль национальных и православных элементов в архитектуре и топонимике первой половины XVIII в.: *Кириченко Е.И.* Русский стиль. Понски выражения национальной самобытности. Народность и национальность. Традиции древнерусского и народного искусства в русском искусстве XVIII – начала XX в. М., 1997. С. 24–80; *Она же.* Священная топонимика российских столиц: взаимосвязь и взаимовлияние // *Россия/Russia.* 1999. № 3 (11). С. 20–35.

Из исследований более ранних проявлений национальной идеи в России назовем: *Bushkovish P. The Formation of a National Consciousness in Early Modern Russia // Harvard Ukrainian Studies.* 1986. December. Vol. 10. № 3–4. P. 355–376; *Cherniavsky M. Russia // National Consciousness, History, and Political Culture in Early-Modern Europe.* Baltimore, 1975; *Hosking G. The Russian National Myth Repudiated // Myths and Nationhood.* L., 1997. P. 198–210. Не так давно Л. Гринфельд выдвинула гипотезу о том, что толчком к пробуждению русского национального самосознания стало так называемое *ressentiment* – «психологическое состояние, возникающее из подавляемых чувств зависти и ненависти», которое, как полагает исследовательница, сформировалось в русском обществе к концу XVIII в., когда стало очевидно, что России так и не удалось догнать Европу; удрученные этим обстоятельством, русские стали искать утешения в идее «народности», в свою очередь заимствованной у немцев (*Greenfeld L. Nationalism: Five Roads to Modernity.* Cambridge (MA), 1992. P. 15, 189–274). Не имея возможности вести развернутую полемику с этой гипотезой в рамках настоящей статьи, скажем только, что она представляется нам скорее остроумной, чем убедительной.

³ Ср., например, попытки императрицы создать новую систему просвещения и ускорить формирование третьего сословия. В этой связи сошлемся на два классических очерка, не потерявших своего значения и по сей день: *Архангельский А.С.* Императрица Екатерина II в истории русской литературы и образования. Казань, 1897; *Рождественский С.В.* Очерки по истории систем народного просвещения в России в XVIII–XIX веках // Записки историко-филологического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета. Ч. CIV. СПб., 1912. С. 329–676. Новейшую библиографию вопроса см.: *Eklof B. Russian Peasant Schools. Officialdom, Village Culture and Popular Pedagogy, 1861–1914.* Berkeley; Los Angeles; L., 1997. P. 198–210.

⁴ Ср. так называемый греческий проект императрицы; анализ проблемы и библиографию вопроса см.: *Зорин А.Л.* «Кормя двуглавого орла...»: Русская литература и государственная идеология в последней трети XVIII – первой трети XIX ве-

- ка. М., 2001. С. 31–64; см. также: *Кириченко Е.И.* «Греческий проект» Екатерины II в архитектурном пространстве Российской империи // XVIII век: Ассамблея искусств. Взаимодействие искусств в русской культуре XVIII века. М., 2000. С. 244–260; *Кучерская М.* Великий князь Константин Павлович – византийский император // К 60-летию профессора А.И. Журавлевой. М., 1998. С. 3–15.
- ⁵ *Wortman R.S.* Scenarios of Power. Myth and Ceremony in Russian Monarchy. Princeton (NJ), 1995. Vol. 1. From Peter the Great to the death of Nicholas I. P. 136.
- ⁶ Об этом см.: *Виноградов В.В.* Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX веков. С. 151 (краткая библиография работ о стилистических установках Екатерины); *Каменский А.Б.* «Под сению Екатерины». Вторая половина XVIII века. СПб., 1992; *Козлов В.П.* Кружок А.И. Мусина-Пушкина и «Слово о полку Игореве». М., 1988; и др.
- ⁷ *Пыпин А.Н.* Кто был автором «Антидота»? Из истории литературной деятельности Екатерины II // Вестник Европы. 1901. № 5. С. 181–216; *Madariaga I.* Russia in the Age of Catherine the Great. New Haven; L., 1981. P. 330–335, 535–538. В работах советских исследователей приводится ряд ценных фактических сведений о попытках Екатерины оказывать влияние на литературу, однако содержательный анализ этих попыток зачастую глубоко идеологизирован: ср., например: *Гуковский Г.А.* Русская литература XVIII века. М., 1939. С. 287–290; *Макогоненко Г.П.* Радищев и его время. М., 1956. С. 214–229; см. также: *Гаврилова Л.М.* «Антидот» Екатерины II и «теория официальной народности» // Историографический сборник. Саратов, 1989. С. 144–153. Из новейших работ на эту тему, прежде всего, см.: *Зорин А.Л.* Указ. соч. С. 31–122; об идеологических установках драматургических опытов Екатерины см.: *Гардзошю С.* Либреттистика Екатерины II и ее государственно-национальные предпосылки // Россия/Russia. 1999. № 3 (11). С. 82–90; *Майофис М.* Музыкальный и идеологический контекст драмы Екатерины «Начальное управление Олега» // Русская филология. Вып. 7. Тарту, 1996. С. 66–73; *Шольц Б.* К вопросу о противоречиях концепции истории в русских исторических драмах 2-й половины XVIII века // Литература и история. СПб., 2001. Вып. 3. С. 70–109.

- ⁸ Разные аспекты этой темы исследуются в: *Артемьева Т.В.* Русская исторнософия XVIII века. СПб., 1996. С. 25–46; *Лотман Ю.М., Успенский Б.А.* Споры о языке в начале XIX века как факт русской культуры («Происшествие в царстве теней, или Судьбина русского языка» – неизвестное сочинение Семена Боброва) // Уч. зап. Тарт. гос. ун-та. Вып. 358 (Тр. по русской и славянской филологии, XXIV). Тарту, 1975; *Лотман Ю.М.* Идея исторического развития в русской культуре конца 18 – начала 19 столетия // XVIII век. Сб. 13. Проблемы историзма в русской литературе: конец XVIII – начало XIX века. Л., 1981. С. 82–90; *Макогоненко Г.П.* Из истории формирования историзма в русской литературе // Там же. С. 3–65; *Милюков П.Н.* Главные течения русской исторической мысли. М., 2002. С. 37–138; *Стенник Ю.В.* Идея «древней» и «новой» России в литературной и общественно-политической мысли второй половины XVIII века (Екатерина II, И.Н. Болтин, М.М. Щербатов) // Литература и история. СПб., 1997. Вып. 2. С. 7–48; *Успенский Б.А.* Из истории русского литературного языка XVIII – начала XIX вв. Языковая программа Карамзина и ее исторические корни. М., 1985. С. 158–199.
- ⁹ Тема борьбы с галломанией и пропаганды русского образа мыслей в литературе последней трети XVIII в. так или иначе затронута во всех общих исследованиях этого периода; см.: *Берков П.Н.* История русской комедии XVIII века. Л., 1977; История русской драматургии XVII – первой половины XIX века. Л., 1982; *Стенник Ю.В.* Русская сатира XVIII века. Л., 1985; *Rogger H.* Op. cit.; и др.
- ¹⁰ В частности, см.: *Милюков П.П.* Главные течения... С. 114–119; *Моисеева Г.Н.* Археографическая деятельность П.И. Новикова // Н.И. Новиков и общественно-литературное движение его времени. XVIII век. Сб. 11. Л., 1976. С. 24–36; *Она же.* «Слово о полку Игореве» и Екатерина II // XVIII век. Сб. 18. СПб., 1993. С. 3–30.
- ¹¹ *Соболева Н.А.* Российская городская и областная геральдика XVIII–XIX вв. М., 1981. С. 54–111.
- ¹² *Азадовский М.К.* История русской фольклористики. М., 1958. Т. 1. С. 42–111; Русская литература и фольклор (XI–XVIII вв.). Л., 1970. С. 180–350; *Трубицын Н.* О народной поэзии в общественном и литературном обиходе первой трети XIX века. СПб., 1912. С. 178–219.

- ¹³ Словарь Академии Российской. СПб., 1789–1794. Ч. 1–6; историю этого издания см.: История русской лексикографии. СПб., 1998. С. 59–126.
- ¹⁴ *Wortman R.* Op. cit. P. 171–215.
- ¹⁵ См.: *Бочкарев Н.* Консерваторы и националисты в России в начале XIX в. // Отечественная война и русское общество. 1812–1912. М., 1911. Т. 2. С. 194–220 (здесь же о дворе великой княгини Екатерины Павловны как о центре оппозиционной консервативно-националистической элиты).
- ¹⁶ Период 1805–1811 гг. может расцениваться как своего рода лаборатория национального идеологического строительства. Проблематика взаимного влияния литературы и идеологии в эту эпоху обобщена в работе: *Киселева Л.Н.* Идея национальной самобытности в русской литературе между Тильзитом и Отечественной войной (1807–1812): Дис. ... канд. филол. наук. Тарту, 1982; см. также продуктивное исследование: *Альтшуллер М.Г.* Предтечи славянофильства в русской литературе (Общество «Беседа любителей русского слова»). *Ann Arbor*, 1984; ряд интересных материалов вошел в сборники: *Война 1812 года и русская литература: Исследования и материалы.* Тверь, 1993; *Отечественная война 1812 года и русская литература XIX века.* М., 1998.
- ¹⁷ Здесь не время и не место обсуждать вопрос об исторически отдаленном генезисе этой идеологической конструкции. Так, Б.М. Гаспаров считает, что представление о Руси как о последнем оплоте «истинного христианства», которому суждено пережить пришествие Антихриста и восторжествовать над ним, было распространено уже в XVI в. и неоднократно оживлялось в последующие столетия в связи с различными кризисами во внутренней и внешней жизни страны, память о которых откладывалась «в культурной памяти в качестве все новых членов мифологической парадигмы» (*Гаспаров Б.М.* Поэтический язык Пушкина как факт истории русского литературного языка // *Wiener Slawistischer Almanach.* Wien, 1992. Sonderband 27. С. 84 (здесь же см. разбор основных мотивов мессианистской риторики 1812 г.). За рамками нашего исследования останется и разбор различных изводов мессианской идеи: страдательный / торжествующий, изоляционистский / экспансионистский мессианизм разрабатывался на разных этапах

и в разных аудиториях; в этой связи см., в частности, сопоставительный анализ риторики А.С. Шишкова и митрополита Филарета: *Зорин А.Л.* Указ. соч. С. 247–266.

- 18 В воззвании 1806 г. указывалось, что Наполеон грозит «потрясением православной греко-российской церкви, тщится наваждением дьявольским вовлещи православных в искушение и погибель», что он во время революции поклонялся истуканам, человеческим тварям и блудницам, в Египте «проповедовал Алькоран магометов», наконец, «к вящшему посрамлению церкви Христовой, задумал восстановить синедрин, объявить себя Мессией, собрать евреев и вести их на окончательное искоренение всякой христианской веры» (*Жаринов Д.А.* Первые войны с Наполеоном и русское общество // *Отечественная война и русское общество.* М., 1911. Т. 1. С. 207). Обращение Синода было далеко не единственной идеологической акцией, строившейся на эсхатологическом толковании событий. Показателен в этом смысле эпизод, зафиксированный С.Н. Глинкой, который «в 1806 году, при проезде из Москвы в Петербург, застал в канцелярии товарища министра юстиции Н.Н. Новосильцева некоего В-ко с Апокалипсисом в руках. В ответ на выраженное Глинкой недоумение чиновник объяснил, что для возбуждения в народе патриотизма очень удобно переделать одно место из Апокалипсиса, поставив вместо упомянутого там царя бездны Аввадона и Аполлиона – Наполеона» (Там же).
- 19 См.: *Охотин Н.Г.* 1812 год в поэзии и поэзия в 1812 году // *Русская слава. Русские поэты об Отечественной войне 1812 года.* М., 1987. С. 21–24, 45. Действенность принципа национально-религиозной общности подтверждалась и недавним опытом испанской гериллы.
- 20 Попытка инкорпорировать Россию в Европу и обозначить конец периода ученичества содержится уже в программной главе скатерининского «Наказа» (Гл. I, ст. 6: «Россия есть Европийская держава»; см. также: *Wortman R.* Op. cit. P. 123). Но потребность в переосмыслении «ученической» модели хорошо заметна и в 1830-е годы, ср., например, настойчивое возвращение к этой теме в дневнике Шевырева за 1830–1831 гг.: «Русские выходят последние на сцену Европы с тем, чтобы все докончить» (ОР РНБ. Ф. 850. Д. 14. Л. 119 об.); «Теперь можно бы так историю Европы превра-

тить в легенду. У Европы было пять дочерей: Италия, Германия, Франция, Англия и Россия. Италия взяла искусство, Германия – науку, Франция – политику в высшем смысле, Англия – торговлю, машины, словом, жизнь практическую. Россия, меньшая дочь от отца Азиатского, с гибким характером, с свежими силами, соберет воедино дары сестер, усвоит их себе и их усовершенствует. Россия совокупит в сумму все бытие европейского человечества» (Там же. Д. 14. Л. 127об.); «Русские должны бы помирить собою все эти противоборства: философия их должна соединить идеализм немцев с эмпиризмом французов и англичан. В жизни политической истинно русские должны согласить разумное, терпеливое желание свободы с покорностью власти верховной. В искусстве они должны помирить классическое с романтическим» (Там же. Д. 17. Л. 14).

²¹ Русская слава. С. 81.

²² *Шатров Н.М.* Пожар Москвы в 1812 году // Там же. С. 105.

²³ Языковые и культурные установки Шишкова и старших арханстов неоднократно описывались в научной литературе: *Булич Н.Н.* Очерки по истории русской литературы и просвещения с начала XIX века. СПб., 1901. С. 122–141; *Виноградов В.В.* Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX веков. 1982. С. 215–219; *Левин Ю.Д.* Очерк стилистики русского литературного языка конца XVIII – начала XX века (Лексика). М., 1964. С. 132–154; *Лотман Ю.М., Успенский Б.А.* Указ. соч.; *Сандомирская И.И.* Книга о родине. Опыт анализа дискурсивных практик // *Wiener Slawistischer Almanach*. Wien, 2001. Sonderband 50. С. 157–227; *Тынянов Ю.Н.* Архансты и Пушкин // Тынянов Ю.Н. Пушкин и его современники. М., 1969. С. 23–121; *Успенский Б.А.* Из истории русского литературного языка XVIII – начала XIX века. Языковая программа Карамзина и ее исторические корни. М., 1985. С. 158–200; и др.

²⁴ Представление о России как о духовной преемнице Древней Греции разрабатывалось уже в XVIII в., прежде всего в связи с греческим проектом Екатерины (см. примеч. 4). В начале XIX в. энтузиастами этой теории были участники оленнинского кружка (о нем см.: *Гиллельсон М.И.* Молодой Пушкин и арзамасское братство. М., 1974. С. 4–37; Зо-

рин А.Л. Указ. соч. С. 255–258). О связи эллинофильства и антифранцузских настроений см.: *Майофис М.* «Рука времен», «Божественный Платон» и гомеровская рифма в русской литературе первой половины XIX века // Новое литературное обозрение. 2003. № 60. С. 145–170.

²⁵ Это положение, разработанное апологетами монархии XVII в. (Боссюэ, Р. Филмером, отчасти Т. Гоббсом и др.) и постулировавшее пропорциональность отношений «государь–подданные» и «родители–дети», было опровергнуто У. Локком, А. Сиднеем, а позднее Ш.-Л. Монтескье и Ж.-Ж. Руссо, считавшими патернализм признаком деспотического правления. Однако в русских правовых и публицистических текстах официального извода данное положение воспроизводилось как бесспорный тезис естественного права: «Никакое другое (правление. – *Н. М.*) не может лучше сообразить все эти преимущества, кроме монархического, где государь есть отец, а подданные его суть дети» (*Бестужев А.Ф.* О воспитании // Русские просветители: Собрание произведений: В 2 т. М., 1966. Т. 1. С. 95). Ср. также в «Наказе» Екатерины II (гл. XIV: «О воспитании», ст. 349), в «Разных рассуждениях о правлении» кн. Щербатова (*Щербатов М.М.* Сочинения. СПб., 1896. Т. 1. Стб. 337; см. также: *Артемьева Т.В.* Михаил Щербатов. СПб., 1994. С. 21–22); и т. п. В текстах эпохи антинаполеоновских войн мы найдем множество примеров апелляции к этому принципу: «Он (император Александр. – *Н. М.*) отец, мы дети его, а злодей француз – некрещеный враг» (*Ростопчин Ф.В.* Ох, французы! М., 1992. С. 220); «Когда ж сражен врага рукою, / Похвальный получу конец, / Мой сын не будет сиротою, / Умру – МОНАРХ ему отец» (*Бунина А.Н.* На выступление российско-императорских войск // Бунина А.Н. Неопытная муза. СПб., 1809. С. 23), «Так, дерзка Франция! и вы, / С ней шедшие на нас державы! / Не страшен нам ваш ков коварный, / Коль члены мы одной главы. / От хижины, церкви до престола / И дети все до нежна пола / Суть царски витязи у нас. / Вы сами видели не раз, / Как вел отец детей ко брани...» (*Державин Г.Р.* Гимн лиро-эпический на прогнание французов из Отечества // Русская слава. С. 58); и т. п.

²⁶ Курсив мой. – *Н. М.* Характерно, что Александр I был крайне раздражен именно этим пассажем и сказал: «Я не могу

подписывать того, что противно моеї совести и с чем я нимало не согласен» (*Мироненко С.В.* Самодержавие и реформы. Политическая борьба в России в начале XIX века. М., 1989. С. 63–64). В связи с оппозицией между либеральной правовой моделью и консервативной семейной см. интересные наблюдения об апелляции к последней в манифесте об освобождении крестьян, написанном митрополитом Филаретом (Дроздовым): *Viise M. R. Filaret Drozdov and the Language of Official Proclamations in Nineteenth-Century Russia // Slavic and East European Journal. 2000. Vol. 44. № 4. P. 553–582.*

- ²⁷ Русский архив. 1902. № 1. С. 33, 35 (письмо одного из активных участников антинаполеоновской пропаганды в России Т.-Г.-Ф. Фабера; о нем см.: *Мильчина В.А.* «Праздник наблюдатель» 1811 года о России и Санкт-Петербурге // Новое литературное обозрение. 1993. № 4. С. 352–356). Ср. также в записях А.Н. Оленина рассказ о «безмездной» помощи крестьян своему помещику при эвакуации, завершающийся знаменательным пассажем: «Здесь опять вышло новое прение между крестьянами и помещиком, неизвестное в просвещенных европейских землях! Сеї последний, рассчитывал, что бы должно заплатить вольнонаемным извозчикам <...> но крестьяне не только что не взяли сих денег, но напротив того объявили помещику, что они было приготовили поклониться ему 20000-ми рублѣй на обзаведение его дома после московского разорения; но как с них скоро очень потребовали казенные подати и другие повинности, то они принужденны были означенные деньги на сии предметы употребить, примолвля к сему следующее: Отец наш, кормилец, небось: мы другие соберем и ими тебе челом ударим! Русский, просто благочестивый человек, слушая сию истинную повесть, скажет: вот плоды родительского семейного правления! Просвещенный же европеец отнесет сеї подвиг к невежеству, глупости и к рабству нашего народа!» (Рассказы из истории 1812 года. Собственноручная тетрадь А.Н. Оленина // Русский архив. 1868. № 12. Стб. 1999–2000). О просцировании патримониальных семейных отношений на отношения социальные (помещик – крестьяне, командир – солдаты и т. д.) в журналистике 1800-х – начала 1810-х годов см.: *Киселева Л.Н.* Система взглядов С.Н. Глинки (1807–1812 гг.) // Проблемы

- литературной типологии и исторической преемственности: Тр. по русской и славянской филологии. Т. XXXII (Уч. зап. Тарт. гос. ун-та. Вып. 513). Тарту, 1981. С. 58–63.
- 28 *Охотин Н.Г.* Указ. соч. С. 20. Ряд важных наблюдений о развитии официальной идеологии в эту эпоху см.: *Сироткин В.Г.* Официальная военно-политическая публицистика Франции и России в 1804–1815 гг. // Бессмертная эпопея: К 175-летию Отечественной войны 1812 г. и освободительной войны 1813 г. в Германии. М., 1987. С. 222–242.
- 29 Впервые опубликован: *А.О. [Оленин А.Н.]* Опыт о правилах медальерного искусства с описанием проектов медалей на знаменнейшие происшествия с 1812 по 1814 г. и трех проектов памятников из огнестрельных орудий, отбитых у неприятеля в 1812 г. СПб., 1817). Аналогичным образом интерпретируется и известная медаль Ф.П. Толстого «Народное ополчение 1812» (1816): «Все души сливаются в одну; весь народ становится огромною *ратью*. Россия не успева-ет раздавать мечей и копий. *Дворянин, купец и поселянин*, друг перед другом, теснясь к *алтарю Отечества* и жадно простирая руки, просят и требуют – *мечей*» (*Глинка Ф.Н.* Письма к другу. М., 1990. С. 283; опубл. в 1817).
- 30 Как акциональное воплощение этой интенции можно интерпретировать сам факт создания и формы деятельности народного ополчения в 1806 и в 1812 гг.: крестьянская масса (сохранявшая такие сословные атрибуты во внешности, как борода) под предводительством воинских начальников из помещичьей среды была призвана решать единую, общенациональную задачу («составление милиции или земских войск к отвращению бури, угрожавшей России» – С.Н. Глинка). Об ополчении 1812 г. см.: *Бабкин В.* Народное ополчение в Отечественной войне 1812 года. М., 1962.
- 31 Мы не станем говорить здесь об «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина; значение этого труда для формирования русского национального самосознания исследовано достаточно подробно. Однако стоит подчеркнуть, что «История» Карамзина надолго стала основным источником популярных героических сюжетов, бытовавших в российских культурных и идеологических практиках. О роли историографии в формировании национальной идеологии см., среди прочего: *Becker S.* Contributions to a Nationalist Ideology: Histories of Russia in the First Half of

the Nineteenth Century // Russian History, 1986. Vol. XIII. P. 331–353; *Saunders D.B.* Historians and Concepts of Nationality in Early Nineteenth-Century Russia // Slavonic and East European Review. 1982. Vol. 60. № 1. P. 44–62.

³² «Героическая биография – это популярный жанр, который не просто прославляет героя, но популяризирует значимые общественные убеждения. Герои превозносятся в свете доминирующих социальных идей; героический дискурс проходит коллективную цензуру масс и порождает народные верования и мифы. Героическая биография – это жанр-константа, дискурсивный феномен и универсальный культурный знак одновременно. Она создает род эмоциональной стабильности внутри сообщества, поклоняющегося данному герою, и дает этому сообществу необходимую опору» (*Makolkin A.* Name, Hero, Icon. Semiotics of Nationalism through Heroic Biography. B.; N.Y., 1992. P. 17). В первых проектах национального музея, созданных в 1820-е гг., предусматривался специальный зал для национального пантеона; об этом см.: *Thomas T. K.* Collecting the Fatherland: Early-Nineteenth Century Proposals for a Russian National Museum // Imperial Russia. New Histories for the Empire. Bloomington, 1998. P. 91–107. Об эволюции мифа Александра Невского см.: *Шенк Ф. Б.* Политический миф и коллективная идентичность: миф Александра Невского в российской истории (1263–1998) // Ab Imperio. Теория и история национализма и империи в постсоветском пространстве. 2001. № 1–2. Имперские мифологии. С. 141–164.

³³ *Зорин А.Л.* Указ. соч. С. 157–186; *Киселева Л.И.* Становление русской национальной мифологии в николаевскую эпоху (сусаннинский сюжет) // Лотмановский сборник-2. М., 1997. С. 279–302. Напомним еще несколько характерных примеров апелляции к «общепародной» мифологии: после занятия Наполеоном Москвы в Петербурге давали балет «Любовь к отечеству» – о крестьянах в народном ополчении (*Мейлах Б.С.* Декабристская идея национального возрождения и русская культура начала века // Декабристы и русская культура. Л., 1975. С. 20); другой показательный пример – сознательное соединение черт офицера, крестьянина и священника в облике поэта-партизана Дениса Давыдова: «Я падел мужичий кафтан, стал отпускать

бороду, вместо ордена св. Анны повесил образ св. Николая и заговорил с ними языком народным» (*Давыдов Д.В. Дневник партизанских действий // Давыдов Д.В. Сочинения. М., 1962. С. 320*).

³⁴ *Свербеев Д.Н.* Записки. М., 1899. Т. 1. С. 204–205.

³⁵ Напомним, что в день открытия памятника в зале московского Благородного собрания исполнялась оратория на тот же сюжет. О бытовании и канонизации сюжета «Минин и Пожарский» в 1800–1830-е годы см.: *Зорин А.Л.* Указ. соч. С. 160–186. История этого первого в Москве скульптурного монумента, идея которого озвучивалась еще в 1803 г., а первые проекты появились в 1807–1808 гг., освещена в работах: *Кириченко Е.И.* Запечатленная история России. Монументы XVIII – начала XX века. Кн. 2. Архитектурные ансамбли и скульптурный памятник. М., 2001. С. 269–272; *Тимофеева Н.* Гражданину Минину и князю Пожарскому: хроника создания памятника по архивным документам // *Куранты: Историко-краеведческий альманах. М., 1987. Вып. 2. С. 288–298.* Идеологической трактовке поддавался даже маршрут транспортировки отлитой скульптуры из Петербурга в Москву через Нижний Новгород (хотя, в сущности, маршрут диктовался техническими ограничениями).

³⁶ Анализ национальной мифологии, формирующейся в 1812 г. вокруг фигуры Александра I, см.: *Wortman R.* *Op. cit.* P. 215–246.

³⁷ *Гаспаров Б.М.* Указ. соч. С. 100–107. О развитии апологетической легенды см.: *Давыдова Е.Е.* Образ Александра I в русской литературе его времени (1775–1825): Дис. ... канд. филол. наук. М., 1996.

³⁸ См., например: *Корнилов А.А.* Курс истории России XIX века. М., 1993. С. 104–105; *Шебушин А.Н.* Братья Тургеневы и дворянское общество александровской эпохи // *Декабрист Н.И. Тургенев. Письма к брату С.И. Тургеневу. М.; Л., 1936. С. 22–24.*

³⁹ *Каппелер А.* Россия – многонациональная империя. Возникновение. История. Распад. М., 1997. С. 70, 75–81.

⁴⁰ Сводку мнений по этим вопросам см.: *Давыдов М.А.* Оппозиция Его Величества. М., 1994. С. 103–108; *Корнилов А.А.* Указ. соч. С. 98–99; *Шебушин А.Н.* Из истории дворянских настроений 20-х гг. XIX в. // *Борьба классов. 1924. № 1–2; Порох В.И.* Декабрист И.Д. Якушкин // *Якушкин И.Д. Ме-*

- муары, статьи, документы. Иркутск, 1993. С. 16–17; *Пресняков А.Е.* 14 декабря 1825 года. М.; Л., 1926. С. 19–22; *Сироткин В.Г.* Борьба в лагере консервативного русского дворянства по вопросам внешней политики после войны 1812 года и отставка И. Каподистрии в 1822 г. // Проблемы международных отношений и освободительных движений. М., 1975. О Польше см. в особенности: *Thackeray F.W.* Antecedents of Revolution: Alexander I and the Polish Kingdom, 1815–1825. Boulder, 1980.
- 41 *Пресняков А.Е.* 14 декабря 1825 года. С. 18–23; *Страхова Н.П.* Внешнеторговая политика России после Венского конгресса. 1815–1822. М., 1983.
- 42 *Мироненко С.В.* Указ. соч. С. 84–93, 98–99.
- 43 *Wortman R.* Op. cit. P. 231.
- 44 Русский архив. 1885. № 11. С. 338.
- 45 *Якушкин И.Д.* Указ. соч. С. 77–79.
- 46 См.: *Зорин А.Л.* Указ. соч. С. 269–335.
- 47 О деятельности Библейского общества и его противниках см. прежде всего: *Пытин А.Н.* Религиозные движения при Александре I. Пг., 1916; *Флоровский Г.В.* Пути русского богословия. Р., 1937. С. 147–176; *Zacek J. C.* The Russian Bible Society and the Russian Orthodox Church // Church History. 1966. Vol. 35. № 4. P. 411–437. Очень полезная библиография содержится в статье В. Шереметевского о князе А.Н. Голицыне в «Русском биографическом словаре» (Том «Гоголь–Гюне». М., 1997. С. 136–137).
- 48 *Флоровский Г.В.* Указ. соч. С. 149.
- 49 *Чернов С.Н.* Из истории борьбы за армию в начале 1820-х годов XIX в. // Чернов С.Н. У истоков русского освободительного движения. Саратов, 1960. С. 187.
- 50 См.: *Рогов К.Ю.* Декабристы и «немцы» // Новое литературное обозрение. 1997. № 26. С. 105–126.
- 51 *Пресняков А.Е.* Российские самодержцы. М., 1990. С. 269.
- 52 *Рылеев К.Ф.* Полное собрание стихотворений. Л., 1934. С. 109.
- 53 *Карамзин П.М.* О Древней и Новой России в ее политическом и гражданском отношениях // Литературная учеба. 1988. № 4. С. 130; об этом же см. в переписке Александра I и графа Ростопчина // Русский архив. 1892. № 8. С. 418; Русская старина. 1902. № 9. С. 634. В этой связи интересно вспомнить историю спора вокруг манифеста 30 августа

- 1814 г. об окончании войны и заграничных походов между Александром и Шишковым, стоявшего последнему места государственного секретаря. Мы уже говорили о недовольстве Александра шишковской апелляцией к патриархально-семейной модели государственного устройства; еще одним поводом для разногласий стал порядок перечисления сословий в манифесте. У Шишкова «благородное дворянство» стояло вторым после «священнейшего духовенства»; император поставил на второе место «победоносное воинство», а дворянство сделал последним, переместив его ниже купечества, мещанства и крестьян (об этом см.: *Лямина Е.* Новая Европа: мнения «деятельного очевидца» (А.С. Стурдза в политическом процессе 1810-х годов) // *Россия/Russia.* 1999. № 3 (11). С. 139). Такое унижение «благородного сословия» не могло не способствовать усилению толков о нелюбви Александра к русскому дворянству.
- ⁵⁴ *Барсуков Н.П.* Жизнь и труды М.П. Погодина. СПб., 1889. Т. 1. С. 176–177.
- ⁵⁵ Цит. по: *Рогов К.Ю.* Указ. соч. С. 122 (конъектура публикатора).
- ⁵⁶ *Барсуков Н.П.* Указ. соч. Т. 1. С. 88.
- ⁵⁷ Об этом см.: *Пресняков А.Е.* Российские самодержцы. С. 269–271.
- ⁵⁸ Интересен параллелизм карамзинских концепций с идеями национального консерватизма екатерининской эпохи, например с позицией кн. М.М. Щербатова; об этом см.: *Моисеева Г.И.* М.М. Щербатов и Н.М. Карамзин («Записка о повреждении прав в России») // *Русская литература XVIII – начала XIX века в общественно-культурном контексте.* XVIII век. Сб. 14. Л., 1983. С. 80–92.
- ⁵⁹ Так, во второй половине 1820-х годов III отделение пугало Николая «русской партией», якобы существовавшей в Москве и враждебной императору, а также настроениями молодых дворян, среди которых революционный и реформаторский дух прикрывался «маской русского патриотизма» (Граф А.Х. Бенкендорф о России в 1827–1830 гг. (ежегодные отчеты III отделения и корпуса жандармов) // *Красный архив.* 1929. Т. 6 (37). С. 150; ср. аналогичную записку за 1830 г.: Видок Фиглярин. Письма и агентурные записки Ф.В. Булгарина в III-е отделение / Подгот. А.И. Рейтблат. М., 1998. С. 393–394).

- ⁶⁰ Восстание декабристов. М., 1925. Т. 1. С. 22.
- ⁶¹ *Рогов К.Ю.* Указ. соч. С. 111.
- ⁶² Избранные социально-политические и философские произведения декабристов. М., 1951. Т. 1. С. 295. Ср. в замечаниях Никиты Муравьева на «Историю» Карамзина: «Какой народ может гордиться, что он претерпел столько бедствий, сколько славянский. Никакой народ не был столь испытан судьбою! Никакому, может быть, не готовит она такого воздаяния!» // Литературное наследство. М., 1954. Т. 59. Декабристы-литераторы. Ч. 1. С. 595.
- ⁶³ Цит. по: *Нечкина М.В.* Священная артель. Кружок Александра Муравьева и Ивана Бурцова. 1814–1817 гг. (Материалы к предыстории декабризма и изучению формирования мировоззрения молодого Пушкина) // Декабристы и их время. М.; Л., 1951. С. 177.
- ⁶⁴ Цит. по: Император Николай Первый / Подгот. М.Д. Финлин. М., 2002. С. 128.
- ⁶⁵ О мифе «золотого века» в национальной идеологии см.: *Smith A.* The «Golden Age» and National Revival // *Myths and Nationhood*. P. 36–59. О «золотом веке» в русской идеологии см.: *Вортман Р.* «Официальная народность» и национальный миф российской монархии XIX века // *Россия / Russia*. 1999. № 3 (11). С. 232–244.
- ⁶⁶ Значение «новгородской темы» для декабристов чрезвычайно подробно исследовано в работах советских историков; см., например: *Ланда С.С.* Дух революционных преобразований... Из истории формирования идеологии и политической организации декабристов (1816–1825). М., 1975. С. 58–77; *Нечкина М.В.* Указ. соч. О декабристском конструировании героического прошлого России см.: *Лотман Ю.М.* Арханглы-просветители // *Лотман Ю.М.* Русская литература и культура Просвещения. М., 2000. С. 250–252. Об исторических воззрениях декабристов см. также: *Поляков Л.В.* Проблема национальной культуры в философском мировоззрении декабристов // *Общественная мысль: исследования и публикации*. М., 1990. Вып. II. С. 3–28; *Стенник Ю.В.* Идея «древней» и «новой» России в литературной и общественно-политической мысли конца XVIII – первой четверти XIX века (Н.М. Карамзин, декабристы) // *Литература и история*. СПб., 2001. Вып. 3. С. 133–154.

- 67 Ср. историю фальшивого указа Алексея Михайловича об изгнании иностранцев из России: *Нечкина М.В.* Указ. соч. С. 155–188. О национальной составляющей в декабристской агитации см.: *Оксман Ю.Г.* Агитационная песня «Царь наш – немец русский» // Литературное наследие. Т. 59. С. 69–84. Роль антинемецких настроений в истории движения подробно проанализирована в указанной статье К. Ю. Рогова.
- 68 *Парсамов В.С.* Пестель как «архангел» // Проблемы истории культуры, литературы, социально-экономической мысли. Саратов, 1984. С. 126–145; *Он же.* Проблема национально-культурного единства в «Русской правде» Пестеля // Проблемы истории культуры, литературы, социально-экономической мысли. Саратов, 1989. С. 61–73.
- 69 *Парсамов В.С.* Декабристы и французский либерализм. М., 2001. С. 168–179, 211–217.
- 70 Исследование роли армии в формировании русской национальной идентичности в более позднюю эпоху см.: *Sanborn J.A.* Drafting the Russian Nation. Military Conscription, Total War and Mass Politics, 1905–1925. DeKalb, 2003. Некоторые общие соображения автора о связи военной мобилизации и национального строительства вполне могут быть транспонированы на описываемый нами исторический период.
- 71 О национальном элементе в политических планах декабристов, кроме указанной выше монографии В.С. Парсамова, см. также: *Чернов С.Н.* Из работ над «Зеленой книгой» // Чернов С.Н. Указ. соч. С. 261–328; *Lemberg H.* Die nationale Gedankenwelt der Dekabristen. Koeln; Graz, 1963; *Best R.* Slavophiles et Décembristes // Le 14 Décembre 1825. Origine et héritage du mouvement des Décembristes. P., 1980. P. 117–134. Ряд любопытных соображений о национализме декабристов был высказан в дискуссии на страницах сборника «Империя и либералы» (СПб., 2001).
- 72 *Чернов С.Н.* Указ. соч. С. 292–293.
- 73 *Одоевский А.И.* Полное собрание стихотворений и писем. М.; Л., 1934. С. 290.
- 74 Об этом неоднократно писали прежде всего в связи с полемиками 1820-х годов о народности литературы, ср.: *Базанов В.Г.* Вольное общество любителей российской словесности. Петрозаводск, 1949; *Он же.* Очерки декабристской

- литературы. Поэзия. М.; Л., 1961; *Бочкарев В.А.* Русская историческая драматургия периода подготовки восстания декабристов (1816–1825). Куибышев, 1968; *Гинзбург Л.Я.* О старом и новом. Л., 1982. С. 157–193; *Гофман В.А.* Литературное дело Рылеева // Рылеев К.Ф. Указ. соч. Л., 1934. С. 1–67; *Королева Н.В.* Декабристы и театр. Л., 1975; *Лотман Ю.М.* Проблема народности и пути развития литературы преддекабрьского периода // О русском реализме XIX века и вопросах народности литературы. М.; Л., 1960. С. 3–51; *Мордовченко П.И.* Русская критика первой четверти XIX века. М.; Л., 1959. С. 196–236; *Leighton L.G.* Russian Romanticism: Two Essays. The Hague; P., 1975. P. 41–108; и др.
- ⁷⁵ Цит. по: 14 декабря 1825 г. и его истолкователи (Герцен и Огарев против барона Корфа) / Подгот. Е.Л. Рудницкая, А.Г. Тартаковский. М., 1994. С. 339.
- ⁷⁶ П.В. Долгоруков передавал слова, якобы сказанные Николаем Карамзину в начале 1826 г.: «...вокруг меня никто не умеет написать двух страниц по-русски, кроме одного Сперанского, а ведь, пожалуй, того и гляди, что Сперанского не нынче так завтра придется отправить в Петропавловскую крепость» (*Долгоруков П.* Петербургские очерки. Памфлеты эмигранта. 1860–1867. М., 1992. С. 156). В этой полуапокрифической истории верно отражено то значение, которое Николай придавал языку своих указов.
- ⁷⁷ *Шильдер П.К.* Император Николай I, его жизнь и царствование. М., 1996. Т. 1. С. 614–616.
- ⁷⁸ Программный характер этого документа, подготовленного с участием М.М. Сперанского, был отмечен немедленно; Константин Павлович писал о нем брату: «Ваш заключительный манифест – совершенство в этом роде, и даже больше, по мысли, рассуждению и точности; он намечает путь для будущего» (цит. по: Междуцарствие 1825 года и восстание декабристов в переписке и мемуарах членов царской семьи. М.; Л., 1926. С. 199). В 1848 г. М.А. Корф назвал этот манифест «величественной программой царствования» (см. его записку «Восшествие на престол Императора Николая I-го» // 14 декабря 1825 г. и его истолкователи... С. 296). М.А. Юзефович объявил этот документ «первым у нас критическим взглядом на реформу Петра Великого, первым шагом к нашему самопознанию и первой причиной вражды к императору <...> тех, для кого

- солнце светит только на Западе и с Запада» (Русский архив. 1870. № 4–6. Стб. 1001). О догматическом значении манифеста для идеологии николаевского царствования см. также: *Цимбаев Н.И.* «Под бременем познания и сомнения...» (Идейные искания 1830-х годов) // Русское общество 30-х годов XIX в. Люди и идеи. Мемуары современников. М., 1989. С. 7–8.
- ⁷⁹ *Шильдер Н.К.* Указ. соч. Т. 1. С. 660.
- ⁸⁰ О роли сусанинского мифа в николаевскую эпоху см.: *Живов В.* Иван Сусанин и Петр Великий. О константах и переменных в составе исторических персонажей // Новое литературное обозрение. 1999. № 38. С. 51–65; *Киселева Л.П.* Становление русской национальной мифологии в николаевскую эпоху (сусанинский сюжет) // Лотмановский сборник-2. М., 1997. С. 279–302.
- ⁸¹ О теме божественного промысла в исторической драматургии 1830-х годов см.: *Вацуро В.Э.* Историческая трагедия и романтическая драма 1830-х годов // История русской драматургии. XVII – первая половина XIX века. Л., 1982. С. 347–349; *Киселева Л.* Жизнь за царя (Слово – музыка – идеология в русском театре 1830-х годов) // Россия/Russia. 1999. № 3 (11). С. 173–185. Об образе «Десницы Вышнего» в драме А.С. Хомякова «Дмитрий Самозванец» (1831–1832) см.: *Мазур Н.П.* Жизнь и мировоззрение А.С. Хомякова в «дославянофильский» период (1804–1837): Дис. ... канд. филол. наук. М., 2000. С. 156–160.
- ⁸² Николай еще раз подчеркнул важность национального воспитания во время своего пребывания в Москве после коронации: 27 сентября 1826 г. он приехал в Московский университет неожиданно без всякой свиты в простом экипаже, «как мудрый и благопромысленный хозяин», и в своей речи сказал, что «око его будет над сим заведением, от которого он будет ожидать блага и пользы для отечества, желая, чтобы питомцы его *были прямо русскими*» (Исторический, статистический и географический журнал. 1826. Ч. 3. № 9. С. 256–257).
- ⁸³ *Шильдер Н.К.* Указ. соч. Т. 1. С. 659–662. В упрощенном виде тот же набор тезисов дублировался в приказе по войскам, изданном 14 июля 1826 г. (Там же. С. 462).
- ⁸⁴ О сцене с Саперным батальоном см.: *Wortman R.* Op. cit. P. 269–270. О троекратном поклоне см.: Там же.

С. 291–292; *Wortman P.* «Официальная народность» и национальный миф российской монархии XIX века // *Россия/Russia*. 1999. № 3 (11). С. 234–235.

⁸⁵ Об этом см.: *Wortman R.* *Op. cit.* P. 249–254.

⁸⁶ Описание ежегодного спектакля, разыгрывавшегося при этой верной оказии императрицей-матерью, находим в письме императрицы Елизаветы Алексеевны от 13 марта 1809 г.: «Вчерашний день и позавчерашний мы провели в глубочайшем уединении, ибо годовщины смерти императора Павла и восшествия на престол ныне царствующего государя справляются ежегодно. Впрочем, «глубочайшее уныние» выражение неточное, так как в 11 часов всегда бывает торжественная заупокойная обедня для всего двора, а после полудня панихида в крепости, где каждый раз собирается немало народа. <...> Императрица, согласно обычаю, становится близ гробницы покойного Государя, находящейся на возвышении, а мы и собравшийся народ стоим внизу, так что это в самом деле составляет зрелище» (Русский архив. 1909. № 12. С. 429). Заметим, что размещение присутствующих на панихиде в точности повторяет расположение фигур на воздвигнутом Марией Федоровной в Павловске памятнике «Супругу-Благодетелю» (скульптор И.Ф. Мартос, 1810).

⁸⁷ *Местр Ж.* Петербургские письма. СПб., 1995. С. 129.

⁸⁸ Именно в январе 1809 г. была выбита медаль, на которой Николаю Павловичу был присвоен титул цесаревича, т. е. наследника престола (*Шильдер Н.К.* Указ. соч. Т. 1. С. 41, 482). В том же 1809 г. гимназический курс образования великих князей превращается в университетский, для чего императрица-мать пригласила лучших профессоров того времени (Там же. С. 34–36. *Высочков Л.В.* Император Николай I: человек и государь. Л., 2001. С. 148–156).

⁸⁹ Принцесса Шарлотта, получившая при крещении имя Александры Федоровны, была дочерью прусского короля Фридриха-Вильгельма III и королевы Луизы, которые сумели превратить свою семейную жизнь в символ любви, объединяющей короля и нацию. Их властный сценарий был образцом патриархально-семейственной модели, носившим отчетливо национальный характер (об этом см.: *Wortman R.* *Op. cit.* P. 248–249).

⁹⁰ Ср.: «Господь сделал [ее] благословенную в женах тем, что из нея возсияло сердце правды» (*Леонтьев Е.* Слово на вы-

сокодержественный день рождения Государыни Императрицы Марии Федоровны // Сын Отечества. 1813. Ч. 4. № 8. С. 50); «О Матерь Нежная! Жена благословенна! / Ты именем святым жены той нареченна, / От коей родился Царь неба и Творец: / Рожден и от Тебя в России Царь сердец» (*Урусова Е.* Стихи императрице Марии Федоровне. М., 1801. С. 3). Тонкая игра с параллелью императрица-мать – Богородица обнаруживается в посвященной Марии Федоровне кантате Державина «Обитель Добрады» (1808; см.: *Альтшуллер М.Г.* Указ. соч. С. 68) и в «Стихах, при поднесении Писем русского офицера» Ф. Глинки (1815), где к императрице применяется определение «Владычица сердец». Кстати сказать, у того же Глинки в «Письмах к другу» (1815) отчетливо прослеживается и весь ряд «материнских» ипостасей Марии Федоровны: «общая *Матерь*», «*Матерь* народа», «мать народа» «наша мать, дочь небес», «*матушка* [для солдат-инвалидов]», «нежная мать семейства», «то наш Царь – то сын Добрады», etc. (*Глинка Ф.Н.* Указ. соч. С. 178–206).

⁹¹ Ключевая роль императрицы-матери акцентировалась в описании праздника в «Русском вестнике» С.Н. Глинки (1814. № 13. С. 37–38). Патримониальные мотивы повторялись в кантатах на слова Г. Державина, Ю. Нелединского-Мелецкого, М. Лобанова, национально-фольклорная стилистика дублировалась в музыкальном оформлении праздника; об этом см.: *Огаркова Н.* Праздники в Павловске при дворе императрицы Марии Федоровны // *Еуропа Orientalis*. 1997. Т. XVI. № 1. Р. 196–204; *Семевский М.И.* Павловск: Очерк истории и описание. 1777–1877. СПб., 1997. С. 155–167.

⁹² В рамках настоящей статьи мы не станем обсуждать позицию Марии Федоровны в момент междуцарствия. Скажем только, что гипотеза М.М. Сафонова о том, что императрица и стоящая за ней «немецкая партия» стремились перехватить престол у Николая, кажется нам пока что недостаточно аргументированной (*Сафонов М.М.* Междуцарствие // *Дом Романовых в истории России*. СПб., 1995. С. 166–181; *Он же.* Константиновский рубль и «немецкая партия» // *Средневековая и новая Россия: К 60-летию профессора И.Я. Фроянова*. СПб., 1996. С. 492–541).

- ⁹³ *Корнилов А.А.* Указ. соч. С. 82–83; *Троицкий П.А.* Александр и Наполеон. М., 1994. С. 130–132. Очень интересные свидетельства о политических играх Марии Федоровны зафиксированы в донесениях французского посла в России Колленкура (Дипломатические сношения России и Франции по донесениям послов императора Александра и Наполеона. 1808–1812. Издание великого князя Николая Михайловича. СПб., 1908. Т. 6); см. также: *Еленев Н.А.* Великая княгиня Екатерина Павловна в Богемии в 1813 году. Прага, 1936.
- ⁹⁴ Круг постоянных посетителей малого двора см.: *Семевский М.И.* Указ. соч. С. 199. О «русской партии» см., в частности: *Сахаров А.Н.* Александр I. М., 1998. С. 208–209, 219–221.
- ⁹⁵ Цитата из воспоминаний адъютанта императора и будущего историка Отечественной войны А.И. Михайловского-Данилевского, который противопоставлял безразличное отношение императора к Бородинской годовщине в 1815 г. патриотизму Николая и Михаила (*Шильдер Н.К.* Указ. соч. Т. 1. С. 54–55). Патриотически настроенные современники настойчиво акцентировали национальные культурные ориентиры Павловского двора (имевшие, впрочем, скорее демонстративный, нежели практический характер) – собрание русских картин и покровительство русским художникам, русскую библиотеку, возвышение русского языка (ср. фразу императрицы: «Превозносимый всеми французский язык не может сравниться в богатстве, силе и красоте с русским»), интерес к русскому фольклору и народным обычаям, устройство «простонародных» праздников и т. п. (см.: *Глинка Ф.Н.* Указ. соч. С. 178–206; описание визита в Павловск в 1815 г.).
- ⁹⁶ *Козлов В.П.* «История государства Российского» Н.М. Карамзина в оценках современников. М., 1989. С. 9–10; *Семевский М.И.* Указ. соч. С. 178–179.
- ⁹⁷ Об этом документе см.: *Афиани В.Ю.* Путеводитель для императрицы // Наше наследие. 1991. № 6. С. 36–47.
- ⁹⁸ Цитата из письма Александра Марии Федоровне осенью 1817 г. (*Lacroix P.* Histoire de la vie et du règne de Nicolas I-er, Empereur de Russie. P., 1864. Т. I. P. 154).
- ⁹⁹ Само длительное пребывание царской семьи, двора и гвардейского корпуса в Москве могло интерпретироваться как

символический акт объединения двух столиц и перемещение центра власти с европейской на национальную почву. Уместно вспомнить в этой связи о рецептах барона Штейна по «русификации» России, высказанных им в беседах с С.С. Уваровым и Н.И. Тургеневым в 1809–1813 гг.: перенос царской резиденции, двора и правительства в Москву, введение национальной одежды для всех сословий (кафтаны и борода), ограничение сношений русских с иностранцами и запрет читать французские книги (Русский архив. 1871. № 2. Стб. 0127–0128; *Тургенев Н.И.* Дневники: 1811–1816 гг. СПб., 1913. С. 232; литературу вопроса см.: *Кириллина Л.А.* Штейн и Россия: 1812 год // Россия и Европа: Дипломатия и культура. М., 1995. С. 49–62). Призыв носить русскую одежду неоднократно раздавался в оппозиционных кругах: в этой связи можно вспомнить опыты декабристов и славянофилов; о значении русского платья для последних см.: *Мазур Н.И.* Дело о бороде (Из архива Хомякова: письмо о запрещении носить бороду и русское платье) // Новое литературное обозрение. 1994. № 6. С. 127–138.

¹⁰⁰ См.: *Даргаган П.М.* Воспоминания первого камер-нажа великой княгини Александры Федоровны. 1817–1819 // Русская старина. 1875. Т. 13. № 5. С. 2.

¹⁰¹ Показательно, что этот мемориальный проект (взамен воинского монумента в виде колонны или пирамиды) был предложен в конце 1812 г. членом «Беседы» генералом П.А. Кикиным и «продвинут» его другом и единомышленником А.С. Шишковым. Кикин учитывал православную традицию сооружения храмов и часовен в память людей или событий, однако привнес в свою концепцию элементы светского историзма, что привело к созданию совершенно нового для России вида памятников. Интересно, однако, что представленные на конкурс в 1816 г. архитектурные проекты преимущественно варьировали мотивы классицистических архитектурных форм. Из множества предложений Александр I предпочел проект А.Л. Витберга, в котором ясно просматривался наднациональный и надконфессиональный мистический аллегоризм с элементами масонской идеологизации – выбор, симптоматичный для дальнейшей идеологической эволюции императора (о проекте храма см.: *Кириченко Е.И.* Запечатленная история Рос-

сн. М., 2001. Кн. 1. С. 242). Закладка храма вызвала многочисленные лирические эскизы московских поэтов, как правило, воспроизводивших риторические образцы военной эпохи; отметим, в частности, стихи А.Ф. Мерзлякова «Песнь на торжественное заложение храма...», где разворачивалась знакомая нам мессианская концепция «Россия – Новый Израиль» через цепь ветхо- и новозаветных аналогий.

- ¹⁰² Отдельного разговора заслуживает послание Жуковского «Государыне великой княгине Александре Федоровне на рождение великого князя Александра Николаевича» (напомним, что при участии Марии Федоровны поэт стал учителем русского языка великой княгини, а после воцарения Николая – воспитателем наследника-цесаревича). Показательно, что в «историософской» части послания Жуковский чуть не буквально повторяет программные тезисы упомянутой нами выше «Записки о московских достопамятностях» Н.М. Карамзина (и Мария Федоровна, и Николай действительно пользовались запиской как путеводителем по Москве): Москва – столица и средоточие России, Кремль – место славнейших и ужаснейших событий русской истории, колыбель самодержавия, существующего для блага народного, и т. д.; даже в перечне исторических героев и эпизодов Жуковский следует за Карамзиным. Тексты Карамзина и Жуковского, непосредственно адресованные кругу Марии Федоровны – Николая, могут дать представление о тех национально-исторических концептах, которые воспринимались и генерировались той средой. В этой связи стоит упомянуть, что к 1818 г. относится публикация полного текста, а возможно и написание большей части строф другого программного стихотворения Жуковского – «Молитвы русского народа», которое в переработанном виде легло в основу текста российского гимна 1833 г., созданного по заказу Николая I. Об участии Жуковского в этом проекте см.: *Киселева Л.Н.* Карамзинисты – творцы официальной идеологии (заметки о российском гимне) // Тыняновский сб. Вып. 10. М., 1998. С. 24–40; датировку 1818 г. последних 5 строф «Молитвы» (первая опубликована в 1815 г.) см.: *Жуковский В.А.* Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. Т. 2. Стихотворения 1815–1852 гг. М., 2000. С. 511.

- 103 О политическом контексте «московского заговора», вызванного прежде всего «польскими» замыслами Александра, см.: *Мироненко С.В.* Указ. соч. С. 84–92. В крестьянском вопросе сильнее была дворянская оппозиция справа, выдвигавшая в защиту status quo старую концепцию неразрывной связи между «отцом-помещиком» и «детьми-крестьянами» (ср. записку сенатора Н.Г. Вяземского, датированную 4 апреля 1818 г. – Там же. С. 89).
- 104 *Wortman R.* Op. cit. P. 282–295.
- 105 Ср. коронационную оду А.Ф. Мерзлякова: «Ах! кто не будет в нас добрее, / Кто не растает, изувер, / Узрев пежнейшего супруга, / Отца семейства, брата, друга / В ТЕБЕ единственный пример» (Вестник Европы. 1826. Ноябрь. № 21–22. С. 14); ср. также описание коронации в «Отечественных записках» П.П. Свиньина, подробно разобранные Р. Вортманом (Op. cit. P. 282–283, 286–287).
- 106 Так, издатель «Отечественных записок», описывая встречу Николая с духовенством перед Успенским собором 26 июля 1826 г., сравнивал ее со «сретеннем юного Михаила на сей же самой паперти, умоляемого народом не оставить сиротствующий престол русский» (Московские современные летописи. Переписка издателя // Отечественные записки. 1826. № 76. С. 288). В дальнейшем популярность сюжетов из Смутного времени дополнительно усилилась польским восстанием 1830 г.; об этом, среди прочего, см.: *Ребеккини Д.* Русские исторические романы 30-х годов XIX века // Новое литературное обозрение. 1998. № 34. С. 416–433.
- 107 Об особой роли мифологии 1812 года в идеологическом строительстве 1830-х годов см. в образцовых исследованиях А.Г. Тартаковского (1812 год и русская мемуаристика: Опыт источниковедческого изучения. М., 1980; Русская мемуаристика и историческое сознание XIX века. М., 1997).
- 108 Ср. проекты возобновления Десятинной церкви в Киеве (1827), реконструкции Спасо-Преображенского собора в Нижнем Новгороде (1828), сооружения церкви св. Екатерины в Петербурге (1827–1830) и др. Одновременно Николай демонстрирует заботу о сохранении и реставрации древних, прежде всего храмовых, строений. Эти тенденции начинают закрепляться в нормативных актах уже с 1826 г.,

а к 1841 г. принимают силу закона: указ императора предписывал, чтобы «при постройке православных церквей преимущественно и по возможности сохраняем был вкус древнего Византийского Зодчества»; при этом в качестве образцов рекомендовались типовые проекты, изданные К. Тоном в 1838 г. (см.: *Кириченко Е.И.* Николай I и Александр II. Государственная политика в области архитектурно-градостроительной деятельности // *Архитектура в истории русской культуры*. Вып. 4. Власть и творчество. М., 1999. С. 130–132; *Она же.* Русский стиль... С. 81–94; *Лисовский В.Г.* «Национальный стиль» в архитектуре России. СПб., 2000. С. 56–87; *Сохранение памятников церковной старины в России XVIII – начала XX в.*: Сб. док. М., 1997. С. 63–79).

- ¹⁰⁹ К национально-консервативным тенденциям николаевского царствования можно, видимо, отнести и нормализацию деревенского строительства, начало которой было связано с реформированием удельного ведомства. При этом важна стилистическая инициатива императора: именно по его настоянию в «Планы по устройению селений» 1831 г. были включены образцы фасадов «в чистом Русском вкусе» (эта фольклоризирующая линия окончательно утвердилась к 1842 г., когда был высочайше одобрен разработанный К. Тоном «Атлас чертежей крестьянских строений»). Придавая «народному» стилю статус государственной нормы, Николай, с одной стороны, демонстрировал народность собственной власти, а с другой – символически уравнивал крестьянство с иными сословиями (одновременно икопически закрепляя традиционные границы между ними). Пристрастие царя к «русскому» стилю, возможно, восходило к эпохе его юности, когда императрица-мать построила близ Павловска декоративную фольклорную деревню Глазово для ветеранов Отечественной войны (1815, архитектор К. Росси). Известны и другие придворные стилизации в этом роде, например «русский ресторан» в Екатерингофе (1824, архитектор О. Монферран); Никольский сельский домик в Петергофе (1835, архитектор А. Штакеншнейдер) и т. п. О становлении «русского» стиля в сельской и придворной архитектуре см.: *Кириченко Е.И.* Николай I... С. 132–135; *Лисовский В.Г.* Указ. соч. С. 46–48, 88–92.

- 110 Видок Фиглярин. С. 322. Сообщения тайных агентов о национальных настроениях в обществе см. там же: с. 275–276, 278, 280, 285, 308–309; и др.
- 111 Об осмыслении этой войны в литературе см.: *Основат А.Л.* К литературным отношениям Пушкина и С.П. Шевырева // Проблемы пушкиноведения. Рига, 1983. С. 57–65; *Он же.* «Олегов щит» у Пушкина и Тютчева (1829 г.) // Тыняновский сб. Третьи Тыняновские чтения. Рига, 1988. С. 61–69; *Парсамов В.С.* К идейной эволюции Пушкина в 1829 году // Очерки по истории культуры. Саратов, 1994. С. 11–127.
- 112 *Михайловский-Данилевский А.И.* Записки // Русская старина. 1893. Т. 79. № 7. С. 176.
- 113 Ср. изложение этой концепции со слов барона Дибича в записках фон Герлаха начала 1828 г. (Русская старина. 1892. № 4. С. 54); см. также запись в дневнике Шевырева летом 1830 г.: «Мы, кажется, для того и обьевропеились, чтобы служить проводником от Азии к Европе» (ОР РНБ. Ф. 850. Д. 14. Л. 105об.).
- 114 По словам А.О. Смирновой-Россет, «государь знал все 20 томов Голикова наизусть и питал чувство некоторого обожания к Петру» (*Смирнова-Россет А.О.* Дневник. Воспоминания. М., 1989. С. 199). Имеются в виду знаменитые издания И.И. Голикова «Деяния Петра Великого» (М., 1788–1789. Т. 1–12) и «Дополнения к деяниям Петра Великого» (М., 1790–1797. Т. 1–18). Подробное изучение биографии Петра Великого входило в учебную программу Николая; см. его тетради за 1808 г. в: ГАРФ. Ф. 728 (Библиотека Зимнего дворца). Д. 773.
- 115 *Никифоров Д.* Москва в царствование императора Александра II. М., 1904. С. 7.
- 116 *Смирнова-Россет А.О.* Указ. соч. С. 199.
- 117 Николай охотно прибегал к петровской традиции появления «запросто» там, где его присутствия никто не ожидал; ср. анекдоты о его неожиданных инспекционных поездках: *Булгаков К.Я.* Письмо к А.А. Закревскому // Сборник Императорского российского исторического общества. Т. 78. СПб., 1891. С. 396; *Дивов П.Г.* Петербург в 1827 г. // Русская старина. 1898. № 1. С. 107. Описание неутомимости государя см.: Видок Фиглярин. С. 163; *Никитенко А.В.* Дневник: В 3 т. М., 1955. Т. 1. С. 34. Очень характерно вве-

денное Николаем правило публиковать в сенатских ведомостях собственноручные решения императора (Император Николай Павлович и решения им разных дел в 1827–1833 гг. // Русская старина. 1888. № 8. С. 413–420). Сравнения Николая с Петром в 1826–1827 гг. см.: Видок Фиглярин. С. 124; *Вяземский П.А.* Записные книжки. М., 1992. С. 73; Письма П.М. Языкова к родным за дерптский период его жизни (1822–1829). СПб., 1913. С. 260; и др.

- 118 Ср.: *Аронсон М.И.* «Конрад Валленрод» и «Полтава»: К вопросу о Пушкине и московских любомудрах 1820–1830-х годов // *Временник Пушкинской комиссии.* М.; Л., 1936. Т. 2. С. 43–56; *Riazanovsky N.* The Image of Peter the Great in Russian History and Thought. N.Y.; Oxford, 1985. Различные проекции петровской мифологии на николаевскую современность рассмотрены в кратких, но крайне продуктивных заметках А.Л. Осповата и А.Б. Рогинского: Историческая проза и государственный миф // *Старые годы: Русские исторические повести и рассказы первой половины XIX века.* М., 1989. С. 361–364. Общий обзор проблемы см.: *Соловьев П.К.* Николай I и «петровская легенда»: общество, власть, литература // *Освободительное движение в России.* Саратов, 2000. Вып. 18. С. 52–60.

- 119 *Шильдер Н.К.* Указ. соч. Т. 1. С. 310. О метафоре осажденной крепости у Николая см.: *Мазур Н.Н.* О власти стереотипа: Как в России 1848 года не заметили нового Пьемонта // *Антропология культуры.* М., 2002. Вып. 1. С. 245–263. Характерное переосмысление мотива «окна в Европу» находим в дневнике Шевырева за 1830 г.: «Теперь в России к Западу сто врат настежь отворено и просвещение европейское разных столетий, разных племен так и хлыщет в нее морем Атлантическим. Как ни запирай их, в щели пробьется и прососет волна упрямая. Петр Первый прорубил первые врата широкие, огромные, Екатерина Вторая прорубила вторые, но в несчастную минуту, когда волны просвещения европейского полны были кровью революции и чуждым отседом застоявшегося человечества, в то время, когда бы надо бы запретить их. Странно, как Петр Великий, предвидя будущую революцию французскую и предсказавши ее, не подумал о шлюзах, когда прорывал каналы из Европы в Россию» (ОР РНБ. Ф. 850. Д. 14. Л. 1).

*“Цель
непрерывного
предания...”*

Сборник памяти А.Г. Тартаковского

Москва 2004